ФАИНА

РАНЕВСКАЯ

ФУФА ВЕЛИКОЛЕПНАЯ,

ИЛИ С ЮМОРОМ ПО ЖИЗНИ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Книга о потрясающей Фаине Раневской написана известным киножурналистом Глебом Скороходовым. Благодаря их многолетней дружбе автору удалось сохранить образ необыкновенной женщины, умевшей как никто видеть саму жизнь через призму искрометного юмора. В книге собрано все: беседы, письма, заметки о ролях в театре и кино, забавные истории и много редких фотографий великой актрисы, занесенной в десятку выдающихся актрис XX века.

- Глеб Скороходов
  - ПРЕДИСЛОВИЕ
  - ПРАВО ГЕНИЯ
  - «КИНОПАНОРАМА» И ДРУГИЕ
  - ЭДИТ ПИАФ
  - ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА С РОММОМ
  - «СЭВИДЖ» И «ДЯДЮШКИН СОН»
  - САМОЗВАНКА
  - ТАШКЕНТСКИЙ КАРАТАЕВ
  - КЛЯТВА МАРГАРИТЫ
  - «СЭВИДЖ». ПЕРВЫЙ ПРОГОН
  - ТАИРОВ И «ПАТЕТИЧЕСКАЯ СОНАТА»
  - АНТИПЫРЬИН
  - НЕ ТОЛЬКО АКТРИСА
  - «С ДОСАДОЙ!»
  - ПРОГУЛКА ПО КРЕМЛЮ
  - РОЛЬ В ЧЕТЫРЕ ЭПИЗОДА
  - БУЛГАКОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
  - ФИНАЛ ДЛЯ «СИНЕЙ ПТИЦЫ»
  - «РОМАН» ЭДВАРДА ШЕЛДОНА
  - МУМИЯ ПО ПРОСЬБЕ
  - КАК ОСКОПИЛИ ЧЕЛОВЕКА
  - ТАК КАКАЯ ЖЕ У НЕЕ СУДЬБА?
  - ТЕАТР НА КРАЮ МОСКВЫ
  - ДОМ С БЕЛЬЭТАЖЕМ
  - МАРШАК — ПОЭТ
  - ЛЕНИНГРАДСКИЕ ГАСТРОЛИ
  - МАДАМ СОБАКЕВИЧ ПРЕДЛАГАЕТ
  - ГРУСТНЫЙ СПИСОК
  - СВЯЗЬ ВРЕМЕН
  - «МИЛОЙ ЗОСЕ С ПОЖЕЛАНИЕМ СЧАСТЬЯ!»
  - ОТ СМЕШНОГО ДО ТРАГИЧЕСКОГО

- «ЗНАЮ, ДЛЯ КОГО РАБОТАЮ!»
- «СТРАШНЫ НЕ ДЕНЬГИ, А БЕЗДЕНЕЖЬЕ!»
- ИЗ ДРУГОЙ ОПЕРЫ
- ОРЛОВА НА ДОРХИМЗАВОДЕ
- СОТАЯ «СЭВИДЖ»
- ГОСТИ ИЗ ПАРИЖА
- ПИСЬМА ИЗ ЛЕНИНГРАДА
- КОРОТКИЕ ИСТОРИИ
- В ЦИРКЕ НА ЦВЕТНОМ
- ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В «КЕМЕРИ»
- «СВАДЬБА» В ЛИХОВОМ ПЕРЕУЛКЕ
- ЛИСТКИ ИЗ ДНЕВНИКА
- ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ
- ТАКОЙ РАЗНЫЙ ПУШКИН
- В ОБЩЕСТВЕ
- КОНЦЕРТ В ТАШКЕНТЕ
- РАССЛАБЬТЕСЬ, И БУДЕМ СПАТЬ
- ЮРКА, ЮРА, ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
- ЗАСТОЛЬЕ В «ПОДМОСКОВЬЕ»
- СЭВИДЖ СО СТЕНДА ШАНЕЛЬ
- ДЕЛО НЕ В ЛИТЕРАТУРЕ
- «КАК ГРУСТНО, КОГДА ОНИ УЛЕТАЮТ!..»
- О ПОЛЬЗЕ ПСЕВДОНИМОВ
- АРТИСТ УМИРАЕТ ДВАЖДЫ
- ГРАФИНЯ ЛИЗОГУБ
- НА СВИДАНИЕ
- РОДНЫЕ ПЕНАТЫ
- ПЛАСТИНКА РАНЕВСКОЙ
- БАЛ-МАСКАРАД
- КЛЯТВА НА ВОРОБЬЕВЫХ ГОРАХ
- ПОДАРКИ ОТ РАНЕВСКОЙ
- «ГЕНИЙ ОН. А ВЫ — ЗАОДНО»
- ВСТРЕЧА В ПАРКЕ
- РАЗНОЕ ВОСПРИЯТИЕ
- ИЛЬИНСКИЙ КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
- ТОСТ АЛЕКСЕЯ ТОЛСТОГО
- НОВИНКИ ИЗ АРХИВА
- СОЗДАНИЕ ШЕХТЕЛЯ
- «МЕЩАНЕ» В МОСКВЕ
- РИСУЕТ ЭЙЗЕНШТЕЙН
- ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
- ЧТО СЛУЧИЛОСЬ ПОТОМ
- ПОСЛЕДНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

- notes

- ○ 1
- ○ 2
- ○ 3

Глеб Скороходов
Фаина Раневская. Фуфа Великолепная, или с юмором по жизни

ПРЕДИСЛОВИЕ

Автор хотел бы предуведомить любезных читателей, что книга, которую вы открыли, хотя по форме и похожа на дневник, дневником ни в коем случае не является. Автор фиксировал свои впечатления, рассказы героини книги и диалоги с ней от случая к случаю. И делал это на протяжении пяти лет. Одно, без сомнения, объединяет все рассказанное в книге, — она посвящена актрисе, которую те, кто видел, забыть не смогут. Актрисе, о которой при ее жизни слагались легенды, а после ее смерти ей и по сей день приписывают все новые и новые изречения, будто она не играла в кино и театре, а сидела где-то в капище и всю жизнь, как пифия, изрекала мудрые мысли и предсказания.

И не только. Об этой актрисе уже сложили и продолжают слагать десятки анекдотов, якобы случившихся с ней. Очевидно, ее характер, образ мыслей, восприятие окружающего дают повод для такого мифотворчества. И если она не стала фольклорным персонажем вроде Василия Ивановича Чапаева, то, думаю, оттого, что ее собственное творчество оказывается сильнее мифа.

Это актриса на все времена — Фаина Григорьевна Раневская.

Она действительно была человек необычный. Необычность ее начинается с имени-отчества. В ее паспорте значилось: «Фаина Григорьевна Раневская», но в жизни ее чаще всего называли Фаиной Георгиевной Раневской. И устно, и письменно.

— Почему? — спросил я.

— Может, мне хотят польстить? Ведь Гришка — Отрепьев, а Георгий — Победоносец!

В книге Раневская почти всегда действует под инициалами «Ф. Г.».

ПРАВО ГЕНИЯ

Актерская психология мне представляется загадкой. Во всяком случае, объяснить ее, исходя из нормальной, повседневной логики, зачастую невозможно.

Ф. Г. вспомнила, как однажды пришла на обед к Качалову. Его дома еще не было — задержался на репетиции, — Раневскую встретила его жена. Через полчаса звонок. Входит Василий Иванович.

— Очень хорошо, что пришла, — говорит он Раневской. — Голодная? Сейчас же садимся.

Качалов поправил пенсне, подошел к буфету и налил себе рюмку.

— Ну-с, очень хорошо, хорошо.

— Вася, у тебя что-нибудь случилось? — тревожно спросила жена.

— Нет, Ниночка, ничего, все очень хорошо.

— Что хорошо?

— Сегодня Владимир Иванович Немирович-Данченко отказал мне от роли Вершинина — и это очень правильно.

— Как?! Ты не будешь играть Вершинина? Как это можно?! А будет играть Болдуман — он моложе меня.

— Ну что ты, Ниночка, — Василий Иванович протер пенсне, — все очень правильно. Вершинин молод, а я уже не то. Ну, разве можно в меня влюбиться? — он надел пенсне. — Ну, посмотри?

— Но ты же мечтал играть эту роль. Я буду звонить, я это так не оставлю, — нервничала жена.

— Ничего не надо делать, Ниночка. Пойми, все правильно: в новом спектакле Вершинина будет играть Болдуман — он моложе меня, в него можно влюбиться. Все правильно, Ниночка.

А однажды Ф. Г. в случайном разговоре вдруг сказала мне о «праве гения», которым она, к сожалению, не обладает, ибо к лику гениальных причислить себя не может.

Талант — это неуверенность в себе и мучительное недовольство собой и своими недостатками, чего я никогда не встречала у посредственности

— Свинство не позволяет, — пояснила она.

— Право гения на что? — не понял я.

— Изумительное право не играть, если актер этого не может, — улыбнулась она.

Ф. Г. рассказала, как однажды Федор Иванович Шаляпин вышел уже в гриме на сцену в опере «Вражья сила» Серова. Отзвучал оркестр — певец молчит. Дирижер повторил вступление еще раз, затем другой… Шаляпин обвел грустными глазами зал, покачал головой и ушел со сцены.

К нему в уборную влетел владелец оперы — Зимин:

— Федор Иванович, что же это?! Аншлаг — публика вне себя!

Шаляпин посмотрел на него и тихо сказал:

— Не могу. Тоска.

И затем обратился к секретарю с распоряжением выписать Зимину чек на покрытие убытков.

— Хорошо право гения, если оно подкрепляется чековой книжкой! — улыбнулся я.

— О, в наше время это право умерло — может быть, вместе с гениями… Я не помню случая, — продолжала Ф. Г., - чтобы спектакль отменили по моей вине. Случается, что играть не хочется, — ну вот просто нет сил выйти на сцену. И нет настроения, желания общаться с партнерами. Павла Леонтьевна Вульф меня учила: в таком случае ни за что не насилуй себя, не нажимай на педали — играй спокойно — и настроение появится. Пребывай в тех обстоятельствах, в которые тебя поставила пьеса, действуй в этих обстоятельствах, нужное творческое самочувствие придет.

С Раневской я встретился в ноябре 1964 года. До этого я видел ее несколько раз.

Впервые — в 1947 году на премьере «Весны» в Зеленом театре. Премьера прошла со средним успехом: фильм показался громоздким, утомительным, а порой (например, в бутафорских опытах с солнечной энергией) и скучным. Восторг вызвали, пожалуй, только сцены Раневской и Плятта, особенно знаменитый кульбит на лестнице, фразы Маргариты Львовны: «Я возьму с собой «Идиота», чтобы не скучать в троллейбусе!», разговор по телефону: «Скорую помощь! Помощь скорую! Кто больной? Я больной. Лев Маргаритович. Маргарит Львович».

Кстати, и этот текст придумала сама Ф. Г. Когда Александров пригласил ее сниматься в «Весне», то в сценарии Маргарите Львовне отводился один эпизод: она подавала завтрак своей знаменитой племяннике.

— Можете сделать себе роль, — сказал Александров.

Именно персонаж Раневской и оказался наиболее интересным в этом фильме. И сметным тоже. А без смеха какая комедия?!

После премьеры зрители ринулись к актерам. Меня подхватила толпа, и вдруг я увидел Раневскую. Она стояла возле машины, почти у самого парапета Москвы-реки, испуганная и чем-то обеспокоенная. Я запомнил ее глаза: они не замечали мальчишек, орущих «Муля!», а смотрели поверх толпы, словно ища спасения.

Позже я узнал (Ф. Г. рассказала об этом), что все объяснялось просто: премьера затянулась, Ф. Г. безумно проголодалась, а где-то среди зрителей затерялась ее учитель и наставник Павла

Леонтьевна Вульф, с которой она собиралась ехать ужинать.

В следующий раз я увидел Раневскую лет десять — пятнадцать спустя — в радиостудии на Центральном телеграфе. Она изменилась, постарела, хотя глаза оставались такими же — большими и немного испуганными, только теперь к тому же и грустными.

Катя Дыховичная (редактор «Театра у микрофона») тогда сказала, что Раневская только что записалась в сценах из спектакля «Деревья умирают стоя». Я поздравил актрису, поблагодарил ее и выразил надежду, что мы все (рядом стояло несколько редакторов) скоро услышим премьеру этой записи. Ф. Г. неожиданно заплакала и сквозь слезы призналась, что недовольна собой, что она так мало сделала.

Я в то время работал на радио в отделе советской прозы и, набравшись смелости, предложил:

— Фаина Григорьевна, а не хотели бы вы записать что-либо из советских писателей?

— Отчего же, можно, — согласилась она. — Можно и из советских: важно, чтобы материал был для меня. Я ведь не чтица, я не умею читать, я могу сыграть рассказ, понимаете?

Любовь к Раневской зрителей известна. Слабый фильм 1963 года «Осторожно, бабушка» вышел по посещаемости на первое место только потому, что в нем играла Раневская.

Дом актера устроил ее творческий вечер. Выступал Андроников — говорил хорошо, не выпуская из рук несколько листков бумаги, — и, хотя он почти не заглядывал в них, листки эти как бы свидетельствовали о серьезности речи, ее продуманности, отсутствии «юбилейного захлеба». Ираклий Луарсабович процитировал высказывание Рузвельта, посмотревшего в 1944 году «Мечту» (оно было напечатано в журнале «Лук»): «Мечта», Раневская — очень талантливо. На мой взгляд, это один из самых великих фильмов земного шара. Раневская — блестящая трагическая актриса»».

На вечере в ее честь, устроенном ВТО, Раневская вышла на сцену в самом конце вечера. Актеры ей преподнесли цветы, ВТО вынесло пышную корзину.

Ф. Г. кланялась, снова выходила на аплодисменты, тихо говорила «Спасибо, спасибо» и чувствовала себя, как она рассказала позже, отвратительно.

— Терпеть не могу юбилеев и чествований. Актер сидит как истукан, а вокруг него льют елей и бьют поклоны. Это никому не нужно. Актер должен играть. Что может быть отвратительней сидящей в кресле старухи, которой курят фимиам по поводу ее подагры. Такой юбилей — триумф во славу подагры. Хороший

спектакль — вот лучший юбилей.

Ф. Г. сказала мне это в дни, когда театр настаивал (и безуспешно) на праздновании ее 70-летия.

А тогда, в ноябре шестьдесят четвертого, в редакции мне поручили готовить новогоднюю радиопередачу «Веселые страницы». Я хотел построить ее на классике: Бабель, Зощенко, Ильф и Петров и, может быть, Катаев двадцатых годов. Стал думать об исполнителях. А что, если… Ведь Раневская обещала прочитать рассказы советских писателей.

Звоню Ф. Г.

— Я ведь вам сказала, — говорила она, — что я не чтица, мне нужно играть рассказ.

— Может быть, сами что-нибудь подберете?

— Хорошо, привозите рассказы. Я посмотрю. Все может быть.

Я объясняю, насколько все это важно и нужно и для радио, и для слушателей, и для меня, что Зощенко в новогодней передаче, да еще в исполнении Раневской, украсит всю программу.

Роль хозяйки меблированных комнат в фильме «Мечта» — мадам Розы Скороход открыла огромное трагическое начало в

— О нет! Только не торопите меня, — сказала Ф. Г. — Я посмотрю, выберу. Если найду возможным что-либо прочитать, тогда мы уж будем говорить о записи. В общем, привезите мне рассказы.

Я был рад несказанно. Товарищи по работе, в частности Катя Дыховичная, отнеслись к моей радости скептически. Катя говорила, что Раневская непременно откажется, а если и запишется, то потом может забраковать и запись, и самое себя.

— Ты не знаешь, как она относится к своей работе, — говорила Катя, — это тебе не N. N. записывать, который любой рассказ с листа читает.

На следующий же день я поехал к Ф. Г. На звонок вышла она сама — в черном до пят халате и с гардинной палкой в руках.

— Откуда вы? Что это? — удивилась она.

— Я с радио, — сказал я. — Это книга.

— Голубчик, как же так можно без звонка? У меня ремонт — я не могу принять вас.

— А я только привез вам рассказы. Я забежал по пути на работу, — соврал я. — А то ведь времени до Нового года остается не так уж много.

— Спасибо, спасибо, — сказала Ф. Г. — Извините меня, что не могу принять вас. Позвоните мне, пожалуйста.

Я начал звонить Ф. Г. И, очевидно, очень быстро успел надоесть ей, ибо уже после второго или третьего звонка она сказала:

— Я выбрала кое-что. Если у вас есть желание и найдется время, приезжайте — я хотела бы прочитать вам, посоветоваться, подойдет ли это для вас. Когда вы сможете приехать?

— В любое удобное для вас время.

— Ну, приезжайте сегодня, сможете?

В тот же день я был у нее.

Рассматривать квартиру показалось неудобным. Стены были сплошь увешаны картинами, рисунками и фотографиями. Одно я успел заметить — нигде не фигурировала хозяйка. Простая, далеко не новая мебель — ее совсем немного: только самая необходимая или даже менее того. Но во всем чувствовался вкус и свой стиль, ненавязчивый, не бросающийся в глаза, не рассчитанный на восторг или неприятие. Запомнилось изобилие света — во всех комнатах горели все люстры, бра, настольные лампы и торшеры.

И хотя я пришел с деловым визитом, стеснение и неловкость поначалу не покидали меня. Но вот Ф. Г. заговорила, ее глаза

смотрели внимательно и дружелюбно. Под этим взглядом, казалось, тысячу раз виденным с экрана, делалось легко, свободно и хотелось быть лучше.

Мы заговорили о Зощенко, его непростой судьбе, и я неожиданно для себя рассказал, как работал над главой о Михаиле Михайловиче для многотомной «Истории советской литературы», как не хватало мне живых свидетельств современников писателя.

— А вы не были знакомы с ним? — спросил я.

— Очень мало. Последний раз я его видела году в пятьдесят пятом. Он приехал в Москву и был в гостях у Пешковой — там, знаете, в горьковском доме на Малой Никитской. Был накрыт роскошный стол. Зощенко сидел очень печальный. Он раскланялся, и на лице его промелькнуло подобие улыбки. К еде он не притронулся.

Я не заметил, как пролетело два часа. Раневская прочла мне рассказ Зощенко «Пациентка» — о немолодой женщине, которая пришла к сельскому хирургу-фельдшеру не лечиться, а рассказать о своих переживаниях. Читала она неторопливо, как бы примеряясь к героям, но уже сочувствуя им, живя их волнениями. Слушая Раневскую, я по-новому воспринял рассказ героини. Раневская почувствовала в ней зощенковскую боль, которую не сразу и заметишь, ту частицу его «великой грусти», которую он всегда испытывал, видя ничтожность своих героев, смеясь над ними или сострадая им.

— Вот видите, это совсем не смешно, — заметила Ф. Г. — А ведь вам нужно смешное — в Новый год люди хотят веселиться… Боюсь, что это не подойдет.

Я стал уверять, что программа вовсе не рассчитана на сплошной хохот, что в ней найдется место и лирике.

— Хорошо, — сказала она, — я еще подумаю, почитаю, посмотрю. Здесь много замечательных рассказов, но боюсь, они не для меня — я ведь не чтица. Но я посмотрю еще.

«КИНОПАНОРАМА» И ДРУГИЕ

— Сегодня, когда ехал к вам на девятнадцатом, весь троллейбус обсуждал вчерашнюю передачу Каплера[1], - сообщил я.

— Я все хотела вас спросить, — перебила меня Ф. Г., - где вы сходите? У Яузских ворот?! Голубчик, я же просила вас — проезжайте на одну остановку дальше. Возле этих жутких трущоб нельзя и минуты находиться: не ровен час, обчистят карманы или, того хуже, пырнут ножом.

— Ну, что вы! — засмеялся я. — Не во времена же Хитровки живем!

— А что изменилось? Когда я приехала сюда, на Котельническую, — это сорок восьмой год, кажется, — в этих жутких кварталах, спускающихся к реке, поверьте, все было как до революции. Только жителей стало вдвое больше. Мы с Павлой Леонтьевной [2] пошли гулять, так, увидев эту клоаку, женщину в драной ситцевой кофте — она набирала в ведро воду из колонки: там же ни водопровода, ни канализации, — «мама» сказала мне: «Фаина, мы попали в прошлый век. Никому не говори об этом. Это в столице государства, которое тридцать лет трубит, что оно для трудящихся».

И она оказалась права: прошло еще двадцать лет, и я сама видела, как грязные дети плескались у той же самой колонки — она возле трамвайной остановки. И рядом — наш небоскреб для избранных, последнее воплощение сталинского размаха! Вы плохо представляете, каким он был, когда я въехала. Скоростные лифты, холлы с мягкой мебелью, ковры на лестницах белого мрамора, прорва обслуги. И всюду охрана — в каждом подъезде привратники и лифтеры, которые бдели круглые сутки, чтобы, не дай бог, простые трудящиеся не увидели, как живут их слуги.

Котельническая набережная в Москве

Сейчас дом, конечно, поплошал — слуг народа в нем стало меньше, поразъехались в новые дома получше, а трущобы у реки все те же. Я не раз говорила Таньке Тесс[3]:

— Ну, раз ты так обожаешь контрасты, ради них мотаешься по пять раз на год то в Париж, то в Лондон, то в Ниццу, напиши об этих кварталах у Яузы — таких контрастов нигде днем с огнем не сыщешь!..

Я предложил Ф. Г. все же пойти погулять — день отличный и жара уже спала.

— Только не к Яузе! Туда я больше ни ногой! — предупредила Ф. Г. — Я проведу вас лучше к Таганке, к торговым рядам. Накупим там требухи, свиных ножек, наварим холодца и станем с ним у пивной на Хитровке. Эх, родись я на полвека раньше!..

Мы двинулись по маршруту, и тут Ф. Г. вдруг спросила:

— Так что вы говорили о Каплере?

Я рассказал о вчерашней «Кинопанораме», в которой Алексей Яковлевич посвятил несколько страниц несчастным судьбам детей Голливуда — Джеки Кугана, Ширли Темпл, Джуди Гарленд, которых эксплуатируют, пока они приносят доход, а потом бросают на произвол судьбы.

— Люся так и сказал? — удивилась Ф. Г.

— Ну, приблизительно. И еще об их покалеченном детстве. И

фрагменты показал прекрасные!

— А о том, что и Куган, и эта девочка Темпл стали миллионерами, он не говорил? Вот вам и Каплер, бесстрашный человек! Что делает ваше говенное телевидение с людьми! Люся чудный, добрый и умный человек. Настоящий мужчина, лихой до безрассудства. Ему же все в Ташкенте твердили: «Что ты делаешь? Ты — автор фильмов о Ленине! Оставь этот роман со Светланой. Сталин узнает — не сносить тебе головы!». А он — не знаю, так уж любил Светлану или просто пошел ва-банк, но наплевал на все знамения, и его сгноили бы в лагерях, если б «отец народов» не дал дуба.

— Но он прекрасно ведет «Кинопанораму», — встал я на защиту Каплера, — его все любят, и если он и сказал там что-то о несчастных голливудских детях, то, по-моему, только для того, чтобы показать великолепные фрагменты из фильмов, которых мы никогда не видели!

— Он тут звонил мне, предлагал у него выступить, — Ф. Г. махнула рукой. — Только мне и лезть на телевидение! Я пыталась отшутиться: «Представляете — мать укладывает ребенка спать, а тут я своей мордой из телевизора: «Добрый вечер!» Ребенок на всю жизнь заикой сделается! — Дети, Фаиночка, в это время уже спят, — уговаривал он. — Ну что же, тогда еще хуже, — сказала я, — жена с мужем выясняют отношения, и только он решил простить ее — тут я влезаю в их квартиру. — Боже, до чего отвратительны женщины! — понимает он, и примирение разваливается! — Но зрители ждут вас! — нажимал Люся. — Я получил сотни писем с просьбами пригласить вас к экрану. Вас увидят миллионы!»

— «Сколько? — ужаснулась я. — Я просто умру со страху. И вы, как Раскольников, будете стоять над мертвой старухой! Нет уж, дорогой Люсенька, я скорее соглашусь станцевать Жизель, чем выступить по телевидению!»

— Вы действительно так испугались? — спросил я.

— Так или не так, какая разница! Вы опять задаете пустые вопросы! В конце концов, имею я право на кокетство если не как женщина, то хотя бы как актриса?! Между прочим, Каплер, не приняв мой отказ, пообещал отомстить мне в следующей же передаче. «И месть будет страшной!» — пригрозил он. Жаль, что я ее не увижу…

— Почему вы не любите телевидение? — спросил я.

— Наконец-то нормальный вопрос! — обрадовалась Ф. Г. — Может быть, потому, что я люблю смотреть кино. В кинозале, с людьми, на большом экране. И не приемлю эти телевизоры с изображением в коробку «Казбека», с идиотскими линзами-

аквариумами. Не могу к этому привыкнуть… Впервые я увидела «аппарат дальновидения» — так он тогда назывался — в 1939 году. Мы снимали «Подкидыш» и вечером пошли в гостиницу «Москва» — там в холле стоял опытный образец чудо-аппарата. Все ахали от восторга. А я смотрела: да, чудо, актеры где-то работают, а мы их видим здесь. Чудо, но меньшее, чем то, что поразило меня в детстве, когда фокусник в цирке распилил даму на две части — голову отдельно от ноги, и эти части, разнесенные в разные стороны, вдруг зашевелились. В тот же миг я расплакалась от ужаса! А тут глядела и оставалась равнодушной. Не волнует меня телевидение и сегодня.

Мы дошли до садика, в котором стоял мраморный бюст Радищева.

— Вот куда я вас вела, — обрадовалась Ф. Г, — Здесь уютно и тихо, никто не знает ни памятника, ни садика — ни пионеры, ни алкоголики. Можно спокойно посидеть и выкурить наконец сигарету!

Отдышавшись, она продолжала:

— Представляю, сколько благоглупостей звучит с экрана! Об одних «Голубых огоньках» я столько наслышана. С меня хватит и радио. Утром, когда у меня работает моя «точка», я хоть могу мазать хлеб маслом и пить чай, не уставясь, как умалишенная, в экран. И радиоблагоглупостей на мою жизнь мне достает! Я же давала вам свой список горестных заметок. Выбросили, наверное?..

Позже я нашел этот листок, на котором Ф. Г. выписала идиотизмы, прозвучавшие по радио. Это главным образом названия передач вроде: «Знаете ли вы мир прекрасного?», «В гостях у Федькиных», «Искусство сближает сердца», «В вихре танца».

— А почему бы вам не посмотреть, как Каплер отомстит вам? — спросил я. — Это же интересно!

— Нисколько. Это во-первых. А во-вторых, где? К соседу, Риме Кармену, не пойду: и дома его чаще всего нет, и странно это: «Здравствуйте, я ваша тетя!». Нет-нет! К Галине Сергеевне (Улановой) можно, но тоже надо заранее предупредить ее, она не откажет, но будет менять свои планы, куда-то не пойдет. А сидеть с ней — одно удовольствие: за вечер проронит две-три фразы. Вот, пожалуй, к кому можно смело идти, так это к Лиде Смирновой. Открытая душа, и мне будет рада. Искренне, без притворства! Расскажет в лицах о своем новом романе, да так, что и про передачу забудем! Когда мы с ней снимались в этом михалковском дерьме «У них есть Родина», мы так дружно страдали по своим возлюбленным — слезы лились в четыре

ручья!..

Вы опять начинаете о моей роли! Я же не об этом. Да, фрау Вурст у меня получилась. Вурст — по-немецки колбаса. Я и играю такую толстую колбасу, наливающую себя пивом. От толщинок, которыми обложилась, пошевелиться не могла. И под щеки и под губы тоже чего-то напихала. Не рожа, а жопа.

В роли фрау Вурст в фильме «У них есть Родина». 1948 г.

Но когда я говорю о михалковском дерьме, то имею в виду одно: знал ли он, что всех детей, которые после этого фильма добились возвращения на Родину, прямым ходом отправляли в лагеря и колонии? Если знал, то тридцать сребреников не жгли ли руки?..

И вот вам дополнение к вопросу о жутких судьбах детей в Голливуде. Только на этот раз не об ихних, а о наших. Непросто ведь здесь все!

Ф. Г. закурила и после паузы продолжала:

— Вот вам один пример. Я дважды снималась не с девочкой, а с живым чудом — с Наташей Защипиной. Вы знаете эти картины — «Слон и веревочка» и эта самая — «У них есть Родина».

Я сначала боялась Наташи, все актеры боятся играть с детьми: они ведь не играют, а живут, так верят в происходящее, что разоблачают любого актера, который такой веры не нашел.

Неожиданно мы подружились. Может, оттого, что я вообще не умею сюсюкать и говорила с Наташей как со взрослой. А ей было шесть лет! Кроха! Это сорок пятый год, только война кончилась. Она приходила ко мне в уборную и наблюдала, как меня гримируют.

— Тебе интересно играть в мою бабушку? — спрашивала.

— Интересно.

— А ты меня уже любишь? — снова спрашивала она, когда мне натягивали парик.

— Я тебя всегда люблю, — говорила я.

— Но теперь, когда ты уже моя бабушка, сильнее?.. Пересмотрите ее фильмы. И «Жила-была девочка» — там ей три годика, и «Первоклассницу», где ей уже восемь. И не в том дело, что не найдете фальши. Нет, тут что-то есть такое, что трудно обозначить словами. Что-то такое, когда должно бы вроде быть стыдно, что видишь то, что видеть нельзя, а стыдно не становится — только восхищаешься: как здорово!

У Наташи киношная судьба не сложилась. Может, режиссеры ее не разглядели, когда она стала взрослой. После ВГИКа пошла в Театр сатиры, говорят, хорошо работает. Не знаю, я не видела. Но что-то ушло, если ее ставят в длинный общий ряд.

ЭДИТ ПИАФ

— Наталью Кончаловскую знаете? — спросила Ф. Г.

— Которая написала самое короткое в мире стихотворение в соавторстве с мужем? С самим Сергеем Михалковым! Решила потягаться с Чуковским и написать новую, антибактериальную поэму-сказку для детей.

Муха села на варенье, —

сочинила она первую строчку. В это время ее позвали к телефону, в коридоре, а Михалков, увидев сочиненное, добавил свое:

Вот и все стихотворенье!..

— Кончайте валять дурака, — остановила меня Ф. Г. — Наташа несколько раз звонила мне, приглашала. Я отнекивалась, сколько могла, но больше тянуть невозможно. Предлагаю вам сопровождать меня завтра в концерт Натальи Кончаловской, — сказала Ф. Г. безрадостно.

— А что будет петь несравненная? — спросил я.

— Вы меня иногда ставите в тупик: откуда у вас берутся такие приступы слабоумия? Ерничаете над женщиной, не зная ее! «Я вам не давала никакого повода», — процитировала она неизвестно что. — Мы идем на концерт-лекцию «Поет Эдит Пиаф», и дадут его не в Театре эстрады, а в Московском университете! В Коммунистической аудитории! Надеюсь, понятно, что такая аудитория требует соответствующего настроя!

Священного трепета стены Коммунистической у меня не вызывали: сколько здесь выслушано лекций Радцига по истории Древней Греции, Ади Яновны по истории советского кино (был такой факультатив!), докладов и выступлений на комсомольских собраниях. Правда, на этот раз нас усадили на самые почетные места — в первый ряд, где никогда мне сидеть не приходилось.

На сцене появилась дама солидного возраста, но кокетливая и улыбчивая, очень аккуратная: на лбу тщательно уложенные колечки — одно к одному, отглаженное платье с оборочками и рюшечками, кружевной платочек, изящно выглядывающий из левого рукава.

— Ах, Париж, Париж, — начала она, — город снов и мечты!

Не забыть его площадей, бульваров, улочек с кафе на открытом воздухе, предназначенных не для буржуа, а для простолюдинов. В одном из таких кафе меня пригласил на вальс человек с крепкими руками рабочего.

«Откуда вы такая?» — спросил он. «Я из Страны Советов, из Москвы», — сказала я. И чудо: он, изумленный, прекратил всякие ухаживания и только просил об одном: «Расскажите о вашей стране!».

Кончаловская сделала глаза и заговорщицки кивнула Раневской. Опешившая Ф. Г. растерянно улыбнулась и незаметно толкнула меня в бок:

— Не смейтесь, умоляю!..

Как ей было трудно! Кончаловская на сцене работала для нее, и только на нее. Она обращалась к ней, рассказывая о судьбе Эдит Пиаф, как бы предлагая разделить вместе с нею страдания певицы, а когда звучали фонограммы с голосом «парижского воробышка» (почему-то именно это сравнение пришлось Кончаловской более всего по душе, и она употребляла его без конца), когда Пиаф запела свои трагические монологи, рассказчица переживала вместе с ней, успевая посылать Ф. Г. выразительные взгляды: «Ну как?!». Слушая певицу, она кивала, показывая, что понимает каждое ее слово, одобряет наиболее, с ее точки зрения, удачные строфы, а после окончания песни закрывала глаза, не в силах прийти в себя от нахлынувших чувств и впечатлений и держа паузу. Если же в зале вспыхивали аплодисменты, Кончаловская вставала со своего кресла и величественно склоняла перед публикой голову — влево, вправо.

— Можно ей крикнуть «бис»? — тихо спросил я Ф. Г.

— Прошу вас, тише. Потерпите, — шептала она и тут же делала внимательно-восторженное лицо.

Москва 50-х годов XX века

— Боже, какой позор! Ну, я натерпелась, — говорила Ф. Г., когда мы пошли после концерта домой. — Сейчас у нас мерзкие, серые газеты — все на одно лицо. А будь моя воля, я воскресила бы традиции нэпа и поместила бы рецензию «Страшная месть Коммунистической!». Этот замучивший нас ленинский тезис о соответствии формы содержанию! еще один такой концерт, и я подпишусь на полное собрание всех классиков марксизма сразу…

Недавно я прочла очень любопытную статью Чуковского, в «Литературке», кажется, как раз на эту тему. Корней Иванович вспоминает, что еще до революции купил роскошное издание «Войны и мира» с многочисленными цветными иллюстрациями. Делал их художник Апиц, мещанин по натуре и обыватель по восприятию. Чуковский начал в который раз читать Толстого и не смог! Мешала цветная дребедень с завитушечками, рюшечками и сантиментами! Так представляете: Корней Иванович заперся в своей комнате, сел у печки и всю ночь сладострастно вырывал картинки из книги, из всех томов. И жег их. Жег с наслаждением, пока не убедился, что ни одной не осталось!..

У меня к вам просьба: у вас же есть записи, принесите их, давайте просто послушаем одну великую Пиаф.

На следующий день я принес Ф. Г. магнитофон и пленку Пиаф, где записаны двенадцать ее последних песен. Мы слушали молча. Ф. Г. лежала на тахте, подложив под голову подушки, и плакала, закрыв глаза ладонями. Трагическая песня «Белые халаты» напугала ее. Когда я предложил повторить запись, она сказала:

— Не надо. Мне нельзя. Я очень боюсь.

Это «я боюсь» было сказано и во время чтения второй части зощенковского «Перед восходом солнца». Я читал роман вслух, Ф. Г. восхищалась удивительным языком его, мыслями, картинами прошлого, ей знакомого и близкого. Когда же Зощенко перешел к выяснению причин своего страха, к поискам истоков нервного расстройства и стал рассказывать о внезапно появлявшейся в его воображении руке, от которой он не мог скрыться, Ф. Г. прервала меня:

— Прошу вас, пожалуйста, не надо. Мне нельзя!

После всего, что Ф. Г. видела и пережила в Гражданскую войну: голод, тиф, жестокость и зверства террора, с трупами, раскачивающимися на фонарях и лежащими неделями на улицах, — всего, что так гениально описал Булгаков в «Белой гвардии» и «Беге», она заболела: боялась выходить из дому, переходить дорогу (этот страх сохранился у нее надолго). Ей пришлось лечиться. Болезнь вынудила ее оставить на время сцену: Ф. Г. не решалась ступить на подмостки, особенно подходить к их краю: ей казалось, что там, где сидят зрители, — обрыв, пропасть, бездна.

Зощенко пишет о том, как, выяснив причины возникновения своего страха, он смог сам излечиться, убедить себя, что в основе его боязни лежит не что иное, как цепь бессвязных совпадений, цепь случайностей, поразивших в детстве его воображение.

Не знаю, как прошло лечение Ф. Г. Может быть, страх перед больницей, перед необходимостью бросить сцену — лучшее, что у нее тогда было, — победил остальные страхи. Но когда Раневская появлялась в первом акте «Странной миссис Сэвидж» в «Тихой обители», догадывалась, где она, и, испытывая страх человека, которого засадили в психушку, боялась подойти к рампе, я каждый раз вспоминал ее рассказ о том, что случилось полвека назад.

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА С РОММОМ

Начало тридцатых годов. Раневская играет в Камерном. Однажды ей сказали:

— Вас хочет видеть режиссер с кинофабрики.

За кулисы пришел худенький молодой человек в потертых брюках и пиджаке, выглядевшем на два размера меньше нужного, с обтрепанными рукавами.

— Здравствуйте. Я — Михаил Ромм.

Ф. Г. фамилия показалась очень знакомой.

— Здравствуйте! — радостно улыбнулась она. — Я о вас так много слышала!

— Ну что вы! — остановил ее Ромм. — Вы слышали о другом — о знаменитом Рооме, а я начинающий и еще ничего не успел сделать.

Ф. Г. смутилась, а Ромм предложил ей сняться в его фильме «Пышка», сценарий которого он написал сам по мопассановской новелле. Прочитав сценарий, Раневская дала согласие.

Почти все съемки «Пышки» велись ночью.

— С тех пор у меня и появилась бессонница, — как-то призналась Ф. Г.

Но роль госпожи Луазо так увлекла ее, что заслонила физические трудности. Вот одна характерная деталь. Ромм снимал «Пышку» в немом варианте. Несмотря на это, Ф. Г. достала подлинник мопассановского рассказа и затвердила несколько фраз госпожи Луазо на языке оригинала. Это помогло ей почувствовать себя француженкой.

Когда в Советский Союз приехал Ромен Роллан, Горький решил развлечь его фильмом «Пышка». Картину крутили на горьковской даче. Дошли до эпизода, где госпожа Луазо бранит Пышку, — Роллан вдруг подпрыгнул на стуле от восторга. Раневская выразительно произнесла по-французски слово, близкое к русскому «проститутка». Артикуляция актрисы дала возможность «услышать» то, чего был лишен экран.

Кадр из фильма Михаила Ромма «Пышка». Раневская в роли госпожи Луазо

После фильма Роллан долго хвалил работу Ромма и среди актеров Раневскую. Картина по его просьбе демонстрировалась во Франции и прошла там с огромным успехом.

— Вы моя добрая звезда, — сказал Ромм Раневской, — вы принесли мне удачу.

С Роммом Раневская сделала свою лучшую роль в кино — Розу Скороход в «Мечте».

Когда Ф. Г. оказалась случайно в одной больнице с Михаилом Ильичом, они долго разговаривали, вспоминали и свою первую встречу.

Ирония судьбы: когда-то неизвестный Ромм стал «одним из самых» — причем признанных не только официозом, но и зрителем. А Роома, о котором с завистью говорил Михаил Ильич в тридцать втором, сегодня чаше вспоминают как автора «Гранатового браслета» — последней цветной экранизации повести Куприна, получившейся на экране пошлой и слезливо-сентиментальной. Сатирики окрестили ее кулинарной книгой по изготовлению пунша в арбузе и других ресторанных редкостей.

«СЭВИДЖ» И «ДЯДЮШКИН СОН»

Когда я получил перевод от Ф. Г. перевод «Странной миссис Сэвидж» и прочел его, то перед тем, как вернуть пьесу Ф. Г., решил показать ее своим друзьям. Мы читали ее вслух с одним антрактом, не отрываясь.

Любопытными показались некоторые рассуждения автора. Например, это: весь мир — сумасшедший дом, но в настоящем сумасшедшем доме человеку лучше, чем в безумном мире. В психушке, по крайней мере, известно, с кем имеешь дело. В нормальном же мире никто никогда не знает, какие сюрпризы ему уготованы.

— Говорите, говорите все, что вы думаете о пьесе, — просила Ф. Г., едва я приехал на следующий день к Я рассказал о мнении друзей.

— А не скучно ли это будет смотреть? — забеспокоилась Ф. Г. — Поймет ли зритель? Не чересчур ли статична она?

Я пытался доказать обратное, а Ф. Г. рассмеялась:

— Вы добрый, вы меня утешаете! — и сказала уже серьезно: — Пять лет я добиваюсь постановки этой пьесы и до сих пор не знаю, пойдет ли когда-нибудь она. Я хотела бы сыграть эту роль. Мне кажется, что она у меня может получиться.

— Эта роль написана для вас, — сказал я. — Трудно представить в ней кого-нибудь другого.

Ф. Г. благодарно улыбнулась. Мы закурили. После глубокой затяжки она сказала:

— Вот в чем я вам хотела признаться: иногда я боюсь этой пьесы, боюсь этой роли — вдруг, я не смогу ее сыграть. Вы знаете (она перешла на полушепот), после «Дядюшкиного сна» Завадский сказал мне: «Фаина, вы плохо играете, вам надо отказаться от Марии Александровны».

— Он не прав, — сказал я.

— Нет, здесь дело в другом — его не заботила моя работа. Он в тот момент был занят другим. И вот я подумала: может быть, хватит, может быть, пора уйти из театра? Ну зачем мне такая жизнь: я сейчас ничего не играю, ни одной роли. Единственная связь с театром — это зарплата, которую мне привозят на дом. А что впереди? Снова спекулянтка из «Шторма». И ничего больше. На «Сэвидж» надежд никаких. Так для чего же мне театр? Я там ничего не делаю. И смогу ли еще сделать, не знаю…

Это не было случайным признанием. Я видел, в каком состоянии находится Раневская. История с «Дядюшкиным сном» травмировала ее. Мне нравилась Раневская в роли Марии

Александровны. И если спектакль в целом не показался удачным (он был сумбурным, порой действие его почти останавливалось), если спектакль никак нельзя было назвать «шагом вперед», то участие в нем Раневской делало его событием.

К сожалению, «Дядюшкин сон» вскоре лишился этого козыря. Театр собирался на гастроли в Париж. Пьеса Достоевского отвечала рубрике «русская классика», и ее включили в гастрольную афишу.

Завадский вызвал Ф. Г.

— Фаина, хотел с вами посоветоваться. Как быть с Верой Петровной? — спросил он. — Марецкая — украшение нашего театра, а ей не с чем ехать во Францию!

— Ну, пусть она играет Марию Александровну, я откажусь от роли, — сказала Ф. Г.

— А как же Париж? — спросил Завадский.

— Я была в Париже. И не раз. Боюсь, что теперь он уже не для меня.

Больше в «Дядюшкином сне» Раневская не появлялась.

— У меня не получилась роль, — сказала она Юрию Александровичу, чтобы успокоить его. — Не волнуйтесь, больше я на нее не претендую.

Огромная работа оказалась перечеркнутой.

Потом, много времени спустя, я понял, в какое трудное время я застал Ф. Г. Она оказалась у разбитого корыта: ничего в театре, ни одного предложения в кино. Никаких перспектив.

В спектакле «Странная миссис Сэвидж»

Может быть, поэтому она ухватилась за предложение записаться на радио. Не знаю, удавалось ли во время наших встреч хоть немного развеять ее невеселое настроение. Она читала мне Зощенко — один, другой, пятый раз. Предложила записать рассказы Чехова. Потом неожиданно — стихи Саши Черного:

— Это же блестящая сатира! И поэзия настоящая, у нас мало известная — слушатели вам будут благодарны!

И хоть все это заменить театра не могло, Ф. Г. не раз повторяла как заклинание:

— Мне нужно работать. Нужно работать. Могу твердить это подобно чеховской Ирине. Справедливость этих слов понимаешь, только когда попадешь в мое положение. Почти безысходное.

Признаюсь вам, хоть и подозрительно отношусь к откровениям. Самый тяжкий для меня теперь день — тот, в который мне домой привозят зарплату. Я уже не помню, когда была в последний раз в театре, получаю деньги, ничего там не делая. И это никак не радует. Напротив. Скоро я забуду запах кулис и свежевымытого пола сцены…

Ф. Г. все свои силы направила на «пробивание» новой пьесы. Той самой «Странной миссис Сэвидж».

Одна из приятельниц Ф. Г. — Елизавета Моисеевна Абдулова, вдова замечательного артиста, посоветовала ей оставить все хлопоты:

— Ну зачем вам это нужно? Новая роль, новые волнения?! Поберегите себя! Разве вы не заслужили отдыха? Вам как народной и лауреату дадут, конечно, персональную пенсию, и заживете себе припеваючи, без ненужных волнений.

А ей казалось: без новых волнений не будет ничего вообще, кончится все.

Когда «Сэвидж» уже шла на сцене, мы вспоминали это трудное время.

Да, я сумела выкарабкаться, — сказала Ф. Г. — Лиза ничего не поняла, кругозор обывателя ей не позволил. Она — неглупый человек, но этого мало. Иной раз встречаешь людей, к сожалению, нечасто, которые владеют ценным даром природы — умом сердца. Ум сердца позволяет все понять и почувствовать.

САМОЗВАНКА

Я застал Ф. Г. с альбомом в руках, куда она переписала роль миссис Сэвидж.

— Вы работаете?

— Постепенно привыкаю к роли. Я же никогда не учу текста. Читаю, думаю, жду, когда чужие слова станут моими.

Зазвонил телефон.

— Алло! Да, да. — Ф. Г. прикрыла микрофон и прошептала мне: — Возьмите скорее трубку!

Я подошел к параллельному аппарату.

— У меня уже есть перевод этой пьесы, и вы, товарищ Голышева, хорошо это знаете, — сказала Ф. Г.

— У вас не тот перевод. Я сделала лучше, — утверждал скрипучий голос.

— Но театр уже заключил договор с другой переводчицей, с Тамарой Блантер, и мы начинаем работу над пьесой.

— Это не имеет значения. Договор всегда можно расторгнуть. Я предлагаю вам товар самого высокого качества. Можете сами в этом убедиться: пошлите перевод Блантер и мой в экспертную комиссию. Вы увидите, какова будет оценка!

— Послушайте, уважаемая, — Ф. Г. начинала закипать. — Мне не нужна экспертиза. Неужели вы не понимаете, что речь о другом? Вы от меня случайно узнали о существовании этой пьесы, узнали, что мне разрешили ее играть, и сделали свой перевод. Но ведь разыскала пьесу Тамара Блантер!

— Это не имеет никакого значения! Какая разница, откуда я узнала. Вам нужно думать о качестве перевода, о том, что вам придется говорить со сцены.

— Извините, но этот разговор мне неприятен, я не могу его больше продолжать! Всего доброго.

Ф. Г. бросила трубку.

— Какая наглость! Старая карга! Самозванка! — возмущалась она. — Ну что мне делать, а? Но и я хороша! Кто меня тянул за язык рассказать ей об этой пьесе?! А она, как гангстер, — скорее, скорее, — по-моему, перевела за неделю! еще бы: если пьеса пойдет с успехом, то возрастут доходы. Сколько там процентов платят им с каждого спектакля?

— Я не помню. Кажется, два или три.

— А, это неважно! Нет, вы объясните мне, откуда такое вероломство? Ведь переводы этой дамы запрудили все сцены! — Ф. Г. заходила по комнате. И внезапно остановилась: — А вы знаете, что она может сделать? Она отнесет «Сэвидж» в другой

театр и отдаст ее другой актрисе.

— А разрешение? — сказал я.

— Наивный вы человек. Если пьеса попадет к Тарасовой или Степановой — обе, конечно, не в пример мне, дружат с Фурцевой, — неужели, вы думаете, они не добьются своего! Какая я дура! Что я наделала!

— Ф. Г. схватилась за голову. — Нет, вы ничего не понимаете! Как только у нас в театре узнают, что «Сэвидж» ставят во МХАТе, немедленно отменят все! И репетиции никогда не начнутся. Думаете, кто-нибудь, кроме меня, обрадовался разрешению? Нужен малейший повод, чтобы театр отказался от постановки! Завадскому на пьесу наплевать, раз не он ее ставит. Верка, когда «Сэвидж» читали на труппе, заявила, что не понимает, зачем нам эта пьеса, если очевидно, что успеха она иметь не будет! Я-то сразу поняла, что Вера Петровна учуяла, какая Сэвидж выигрышная роль! Слава Богу, не первый год в театре, научилась читать и тексты и подтексты, знаем, как оценивается роль, если она достается сопернице.

Я давно не видел Ф. Г. такой. Она ходила вдоль комнаты, от дверей — к окну, и, мне показалось, возбуждалась от собственных слов.

— Но погодите, — попытался я успокоить Ф. Г., - Голышева никуда пьесу не носила, никто Фурцеву ни о чем не просил и «Моссовет» постановку «Сэвидж» не отменял. Волноваться еще рано!

— Волноваться надо сейчас, — сказала Ф. Г., остановившись. Она села и продолжала уже спокойно и рассудительно, как бы проигрывал возможную ситуацию: — Предположим, дамы добьются от министра разрешения. Что делаю я? Прийти к ней с поллитрой не могу — вы знаете, что со мной делает алкоголь, я тут же наговорю ей такого, что меня ни один театр не примет! Разжалобить ее, сыграть несчастную старуху, у которой от слез мокрые десять платков? Но она подумает: «И зачем ей, такой развалине, лезть на сцену? На покой давно пора!»

Театр им. Моссовета, где Фаина Георгиевна играла в 1949–1955 и 1963–1984 гг.

— Я знаю, что делать! — Меня вдруг осенило. — Не ручаюсь за результат, но попытка — не пытка. У нас в редакции работает Рита Фирюбина — Фурцевой она падчерица. Может, действовать через нее?

— Голубчик! — Ф. Г. всплеснула руками. — Что же вы молчали! Да лучше этого и придумать нельзя.

Она вдруг повеселела, засмеялась, взяла сигарету:

— Ах, как хорошо! Я завтра же позвоню этой Рите: «Родная вы моя, спасите сиротку! Ваша мачеха хочет погубить ее!».

И, смеясь, потащила меня на кухню:

— Давно пора чаевничать. Берлинские печенья нас

заждались!

Странный все-таки организм — театр. Он живет по своим законам, которые, боюсь, мне так никогда и не понять. Ф. Г. оказалась права.

— Катастрофа! — сказала она мне по телефону. — Самозванка, как я ожидала, без дела не сидела — она пристроила свой перевод! Нет, во МХАТ она не пошла, она сделала ход тонкий и, думаю, беспроигрышный — прочла пьесу Бабановой. Марию Ивановну я обожаю! Что говорить, какая она актриса! Но сидит без ролей. «Кресло № 16» у нее не получилось — какая из нее комическая старуха! Она ухватилась, как мне сказали, за «Сэвидж», но ведь это совсем не ее роль — с юмором у Марии Ивановны всегда обстояло туго.

Вот о чем я хотела вас попросить. Не надо пороть горячку, но что если ваша подруга попытается узнать, действительно ли «Сэвидж» разрешена только «Моссовету»? Не сможет ли ее репетировать другой театр? И как в таком случае посмотрит министерство на дублирование репертуара, тем более что речь идет о пьесе западного автора? Вы понимаете, как я буду ждать результата?..

По моей просьбе Рита Фирюбина села за телефон.

— Закрой дверь и никого сюда не пускай! — распорядилась она грозно. Она набирала разные номера, называла кого-то по имени, кого-то по имени-отчеству, ворковала, смеялась, что-то обещала и, наконец, сообщила: — Отдел театров подтвердил: пьеса разрешена только «Моссовету», ему принадлежит право первой постановки.

Результат оказался самым неожиданным. Ю. А. Завадский, узнав, что «Странной миссис Сэвидж» заинтересовался Театр Маяковского, отдал распоряжение немедленно начать репетиции.

— Но Варпаховский занят в Малом, — сказали Юрию Александровичу в репертуарной части.

— Ничего! Пусть репетирует параллельно!

ТАШКЕНТСКИЙ КАРАТАЕВ

Зачем я пишу о некоторых вещах, которые могут показаться незначительными, мелкими — и скорее всего, они таковы на самом деле? Я пишу о Раневской, актрисе и человеке.

Тут без мелочей не обойтись: уж очень они порой красноречивы.

Да и сама Ф. Г. знала цену мелочам.

— Прочли, как Алиса Георгиевна пишет о Станиславском? — спросила она меня, держа в руках очередной номер журнала «Театр» с воспоминаниями Коонен. — Как я люблю Константина Сергеевича, повторять не стану, но вот одна деталь, восхитившая меня. Алиса Георгиевна пишет, как Станиславский увлеченно готовился к выступлению в «капустнике», где собирался изображать дрессировщика лошадей. Подчеркиваю: к выступлению в «капустнике» для своих, а не в спектакле для публики. Он нанял настоящего жокея и обучался у него приемам владения хлыстом. В течение нескольких дней во МХАТе, этом храме искусства, в его фойе раздавалось, как в цирке, хлопанье бича — ученик оказался усердным! Эта мелочь, по-моему, говорит о характере Константина Сергеевича больше, чем страницы пространных рассуждений.

Ф. Г. рассказывала много, и чаше всего она воскрешала страницы прошлого «к случаю», по ассоциации.

Как-то в один из вечеров, когда Наталья Иосифовна Ильина заговорила об Ахматовой, я попросил Ф. Г. рассказать об Анне Андреевне — о той встрече в Ташкенте, далеко не первой, что произошла в годы войны, в эвакуации. Эти воспоминания я уже слыхал раньше, они восхитили меня и врезались в память.

Для Натальи Иосифовны Ф. Г. повторила свой рассказ. И я удивился, как точно она это сделала. Нет, она не воспроизводила заученный текст, она, как всегда, импровизировала. Но в деталях была безошибочна и неизменна.

Анна Ахматова

Выслушав Ф. Г., Ильина хлопнула в ладоши:

— Все! Мы немедленно запишем это! Клянусь вам, я приложу все усилия, чтобы ваш рассказ был опубликован в самом приличном издании! Как коробейник, предлагаю вам любое — выбирайте!

— Ну что вы, что вы! — замялась Ф. Г. смущенно. — Нет, нет, я никогда не сделаю этого. Боюсь, это будет по крайней мере нескромно. Что это я вдруг начинаю рассказывать о себе и Ахматовой? Хвастаюсь этой дружбой?

Все доводы Ильиной она парировала одним:

— Я не уверена, что Анна Андреевна хотела бы видеть эти

воспоминания опубликованными.

Попытаюсь воспроизвести рассказ Ф. Г. Зима сорок второго года. Неуютный Ташкент. Ф. Г. пришла в дом, где жила Анна Андреевна.

— Як вам, — сказала Ф. Г., входя в темную, холодную комнату с сизыми пятнами сырости на стенах и подтеками на потолке. Анна Андреевна сидела, поджав ноги, на кровати, укрывшись серым одеялом «солдатского» сукна.

— Кто это? — спросила она, не разглядев.

— Я Раневская, — ответила Ф. Г.

— А, — улыбнулась Анна Андреевна, — проходите.

— Давайте затопим и будем пить чай, — предложила Ф. Г.

Анна Андреевна, которой нездоровилось, грустно улыбнулась.

— У меня нет дров.

— Сейчас будут, — ответила Ф. Г.

Она вышла во двор. Ряд сараев, все на замках. Она дернула один, другой. Третий поддался. Саксаул. Взяв бревно с сучьями, Ф. Г. вышла из сарая и стала думать, как его расколоть. Во дворе ничего подходящего не нашлось. Вышла на улицу — никого. И вдруг случайный прохожий. С виду мастеровой, с перекинутым через плечо столярным ящиком на ремне. Ф. Г. остановила его:

— В этом доме, в холодной комнате сидит одинокая женщина, надо согреть ее. Не поможете ли вы разрубить это?

Он сразу согласился:

— Отчего же, можно и разрубить.

— Но это бревно я украла, — предупредила Ф. Г.

— Что же, бывает, бывает, — не удивился он.

— И у меня нет ни копейки, я не смогу заплатить вам, — призналась Ф. Г.

— Ну что ж, можно и без денег. Нет и не надо, — ответил мастеровой. — Люди должны помогать друг другу.

Это был, как говорила Ф. Г., живой Платон Каратаев. Он быстро тут же на улице разделал бревно. Ф. Г. поблагодарила его и, сняв свою шубу, побросала в нее поленья. С этим узлом она и явилась к Анне Андреевне.

Когда Ахматова вспоминала в автобиографических заметках об этих днях, — «А еще я узнала, что такое человеческая доброта: в Ташкенте я много и тяжело болела», — мне кажется, она писала и о Раневской.

КЛЯТВА МАРГАРИТЫ

Позвонила Елена Сергеевна Булгакова и попросила меня зайти за журналом — получен сигнал со второй частью «Мастера и Маргариты».

Ф. Г. сдружилась с Еленой Сергеевной уже после смерти М. А. Булгакова, которого при жизни она видела несколько раз мельком. Почти все в то время еще не изданные книги Булгакова она читала уже после того, как их автора не стало. И вот теперь, спустя тридцать лет после окончания работы, выходит главная булгаковская книга — «Мастер и Маргарита».

О том, что этот роман автобиографичен, знают все. Романтическому началу взаимоотношений Мастера и его Маргариты суждено было такое же продолжение. Елена Сергеевна, отказавшись от обеспеченного мужа, ушла к начинающему литератору и всю жизнь делила с ним тяготы, обильно выпавшие на его долю. Трудно ей было и после смерти Михаила Афанасьевича. Елена Сергеевна жила почти впроголодь: ничего не издавалось, ничего не ставилось. Ф. Г. помогала, как могла.

«Мастер и Маргарита» стал делом жизни Елены Сергеевны. Ф. Г. рассказала, что перед смертью Михаил Афанасьевич, уже лишенный дара речи, знаком подозвал к себе жену.

— Что ты хочешь, пить? — спросила она. Он покачал головой. — Что же?

Она пыталась догадаться. Наконец сказала:

— Роман? Ты беспокоишься о романе?

Он кивнул и заплакал.

— Не надо, не беспокойся. — Она встала на колени. — Клянусь, я не умру, пока не добьюсь, что роман будет напечатан, его узнают люди, клянусь тебе.

Через день М. А. Булгакова не стало.

Михаил Булгаков

«СЭВИДЖ». ПЕРВЫЙ ПРОГОН

Я сидел однажды в кресле, рассматривая журнал. Ф. Г. работала над ролью, полулежа на тахте.

— Я не мешаю? — спросил.

— Нет, нет, вы создаете деловую атмосферу.

Я заметил, что Ф. Г. любила, когда при ней занимаются делами, — в эти минуты она особенно охотно писала письма, читала, работала. Углубившись в журнал, я изредка поглядывал на нее — она в очках с очень живым и подвижным лицом, взглядом, направленным внутрь, читала роль. Иногда при этом у нее шевелились губы, она отрывалась от тетради и как будто что-то говорила кому-то в сторону. Вслух свою роль дома она не читала никогда. И вот Ф. Г. сказала:

— Завтра прогон — еще без костюмов и декораций — первый прогон. Не на сцене, а в фойе.

Я попросил ее взять меня с собой.

— А как же с вашей работой? — спросила она. — Ведь прогон — днем.

— Я договорюсь — это нетрудно. Притом будет же наша редакция когда-нибудь записывать «Сэвидж» — пусть я стану первым редактором, который пришел познакомиться со спектаклем.

Именно так и представила меня Ф. Г. режиссеру Варпаховскому. («Мне же неудобно было говорить, что я пригласила на репетицию своего знакомого», — объяснила потом она мне.)

Что же сказать об этом прогоне? Спектакля еще не было. Однако уже ясно, что есть одна роль, которую можно назвать сделанной, — миссис Сэвидж. В ней было все, что определяет ее суть: любовь к людям, страх перед жестокой жизнью, вера в доброе предназначение венца творения. Был живой человек.

— По-настоящему я начинаю играть тогда, когда пьесу уже пора снимать!

Все это будет, но останется неизменной основа — все то, что можно было видеть на первом прогоне. Альбом, в котором записана роль Сэвидж, весь испещрен пометками Раневской.

Вот одна из записей, относящихся к этой работе:

«Как это ни странно, эпиграфом я мысленно взяла слова Маркса: «Я смеюсь над так называемыми «практическими» людьми, их премудростью. Если хочешь быть скотиной, конечно, можно повернуться спиной к мукам человечества и заботиться о своей собственной шкуре»».

ТАИРОВ И «ПАТЕТИЧЕСКАЯ СОНАТА»

Схема московской театральной географии Раневской такова: Камерный театр, Театр Красной Армии, Охлопковский (театр им. Маяковского), «Моссовет», Театр им. Пушкина и снова «Моссовет».

Начало — в Камерном, у Таирова. Весной 1931 года А. Я. Таиров приступил к репетициям пьесы украинского драматурга Николая Кулиша «Патетическая соната», в которой Раневской поручили роль Зинки. В декабре, 20-го дня, состоялась премьера.

Газеты и журналы горячо обсуждали достоинства и (преимущественно!) недостатки пьесы Кулиша.

В полемическом пылу критика предъявила пьесе множество тяжких обвинений. Говорилось, что в пьесе «нет пафоса классового гнева», что «все типы враждебных нам классов даны с величайшим художественным напряжением», а положительные герои написаны невыразительно. В особый критический раж впала одна из украинских газет, которая назвала пьесу «националистической контрабандой» и предложила сделать «беспощадные выводы относительно контрабандиста Кулиша».

Все в духе времени. Разносный, крикливый характер ничем не подкрепленных оценок вместо доказательного разбора. Статьи, похожие на донос, которые, как и полагается, привели в конечном итоге к аресту и расстрелу автора, объявленного «врагом народа».

Выполняя «социальный заказ», критики так увлеклись спорами о пьесе, что на ее исполнителей у них не оставалось места. И все же почти в каждой рецензии Раневской уделялась хотя бы строчка. Иногда ее фамилия была названа в перечислении: «Вдумчивая актерская интерпретация сказалась на образах». Иногда критик оказывался щедрее: «Удачно раскрыт авторский замысел артисткой Раневской, играющей Зинку» («Советское искусство»). Или: «Надо отметить интересную игру новой артистки театра Раневской» (журнал «Прожектор»).

Александр Таиров

Но о чем сегодня нам могут сказать эти общие слова? Разве только о том, что дебют не остался незамеченным? Может быть, как никогда прежде (да и никогда позже), дебютантка жадно искала и читала все, что писалось о «Патетической», о ее роли, о ней самой, и жаждала успеха. Для нее это значило многое — сцена знаменитого театра, новый столичный, искушенный зритель, город — центр театральной жизни страны.

В этот центр Раневская добиралась тогда из села Всехсвятского, где сняла комнату (теперь там метро «Сокол»), на трамвае № 13, трясущемся по одной колее, то и дело долго стоящем на разъездах. Ехала в Камерный театр, на Тверской бульвар, и прислушивалась, не заговорят ли о ее премьере. Ей

казалось, что зрители обязательно запомнят ее Зинку. Но трамвайные пассажиры, как и положено постоянным героям юмористических рассказов тех лет, говорили только на предписанные сатириками темы.

Архив Камерного театра сохранил для нас пьесу Николая Гуровича Кулиша. Пьесу, которую вскоре запретили (в Камерном она прошла только 40 раз), уничтожили, имя ее автора вычеркнули из литературы и жизни, — сохранил архив!

Меня интересовала Зинка. История ее начинается весной 1917 года. Мансарда трехэтажного дома генерала Пероцкого. На дверях надпись: «По случаю Пасхи никого не принимаю». Здесь живет Зинка, Зинаида Масюкова, безработная швейка, бывшая горничная.

Генеральская квартира — на втором этаже. Ее, как и весь дом, представленный на сцене Камерного в разрезе, хорошо видно. Вот сынок генерала, Жоржик, выпросив денег у экономки, направляется к Зинке.

А Зинка хочет сегодня отметить праздник. Она надела свое голубое, сатиновое платье, расчесала волосы на прямой пробор, помолилась Богу и сидит чистая, просветленная, мечтает о «дорогом и милом» — ей двадцать три, а любви она не знала. Мир ей кажется добрым, светлым — оттого и она сегодня иная. Настойчивый стук в дверь нарушает ее спокойствие. Она пытается сопротивляться, не пустить к себе незваного гостя, но Жорж требует: «Папа сказал, выселит тебя, если не заплатишь сегодня». А платить нечем. Зинка, глядя куда-то в сторону, обреченно впускает Жоржа…

Жорж оставляет расписку: «Получил от нее семь рублей квартирной платы и заплатил эти деньги за первый визит к ней».

Праздник не получился. Униженная Зинка остается одна — без радости, без мечты. «Ой, как тяжело! Боже!» Она пытается молиться — не получается. Берет гитару, медленно наигрывает старый мотив «Отчего ты бедный, отчего ты бледный», тихо начинает петь совсем иные слова:

Ой, Боже мой, Боже! Ужель не поможешь?
Иль, может, бесплатно помочь мне не можешь?

Обрывает песню и вдруг внезапно, как вопль, взметнув руки к небу: «Ужель и ты, Боже, да хочешь того же?! Приходи! (Руки падали вниз, меж колен.) Приходи и ты!»

Зал в этом месте охал, и я понял его и охнул вместе с ним, когда Раневская проиграла мне эту сцену. Проиграла как-то неожиданно, без видимого перехода, рассказывая о работе с

Таировым.

Она любила эту роль, хотя сначала боялась ее. Зинка на десять лет моложе, характер — весь на контрастах: она груба и нежна, ласкова и неприветлива, «перепады» ее настроения быстры и непоследовательны.

Раневская в роли Зинки в спектакле «Патетическая соната». 1931 г.

Ф. Г. рассказала еще об одном эпизоде (удивительно, как надолго, очевидно навсегда, запомнила она текст своей роли). В «город, опоздавший с Октябрем», пришли красные. Жоржик, спасаясь от преследования патруля, врывается в комнату Зинки. Он просит спрятать его: патруль уже близко, поднимается по лестнице, сейчас будет здесь, в мансарде. Зинке поверят, не надо открывать дверь! На коленях, цепляясь за Зинкину юбку, просит Жоржик: «Вы богородица. Вы теперь мне как мамочка».

Зинка, сначала слушавшая Жоржа с брезгливым любопытством, при слове «мамочка» замирает пораженная. «А ну, — робко просит она, — еще раз скажи это слово». Жорж повторяет. Плача, Зинка привлекает его к себе: «Мамочка! Дитя ты мое! Золотое! Не плачь! Хочешь, сиси дам? Свялой, смятой?». И, положив руку на грудь, вдруг прозревает: «Нет!.. Не выйдет из меня мамочки!». «Цыц!».

— прикрикивает она на Жоржа. И глаза уже — злобные, ненавидящие, сухие. Она открывает дверь навстречу патрулю.

Зрители приняли спектакль. Бросали на сцену цветы, долго аплодировали, вызывали автора, режиссера, актеров. Павла Леонтьевна, смотревшая премьеру, очень волнуясь за Ф. Г., после

спектакля вбежала в ее уборную, радостная, возбужденная.

— Мы победили! — сказала она.

АНТИПЫРЬИН

— С режиссерами мне всю жизнь везло. В поисках хорошего я меняла сцену на сцену, переспала со всеми театрами Москвы и ни с кем не получила удовольствия!

А в кино?! «Ошибку инженера Кочина» Мачерета помните? У него в этой чуши собачьей я играла Иду, жену портного. Он же просто сделал из меня идиотку!

— Войдите в дверь, остановитесь, разведите руками и улыбнитесь. И все! — сказал он мне. — Понятно?

— Нет, Сашенька, ничего не понятно!

— Но, Фаиночка, согласись, мы не во МХАТе! Делаем советский детектив — на психологию места тут.

Я сдалась, сделала все, что он просил, а потом на экране оказалось, что я радостно приветствую энкавэдэшников!

Не говорю уже о том, что Мачерет, сам того не желая, сделал картинку с антисемитским душком, и дети опять прыгали вокруг меня, на разные голоса выкрикивая одну мою фразу: «Абрам, ты забыл свои галоши!».

А Кошеверова? Выбросить из «Золушки» мой лучший эпизод! После того как этот чертов башмачок пришелся по ноге Леночке Юнгер — она чудно Анну играла, — я зычно командовала капралу: «За мной!». И тут же запевала:

— Эх ты, ворон, эх ты, ворон, пташечка! Канареечка жалобно поет!

И под удивительный марш сочинения Спадевеккиа отправлялась во дворец. Где это все? Можно подумать, что мне приходилось в кино часто петь!

А Пырьев?! Я снималась у этого деспота в «Любимой девушке». «Любимую», разумеется, играла Ладынина, из меня делать «любимую» никто никогда не пробовал. И что же? В последний съемочный день он мне говорит:

— Фаина Григорьевна, я надеюсь на нашу дальнейшую совместную работу.

И думаете, случайно я выпалила в ответ:

— Нет уж, дорогой Иван Александрович, я теперь вместо пургена буду до конца дней моих пить антипырьин, чтобы только не попасть еще раз под ваше начало!

Это был сплошной кошмар! И зачем я только согласилась на эту тетку Добрякова?!

Вася Добряков достался Санаеву. Пырьев орал на него как резаный, а Санаев, хороший, мягкий человек, после того как случайно попал в КГБ и отсидел там, кажется, неделю, стал

запуганным на всю жизнь: никогда никому не возражал и со всем только соглашался. Иван вил из него веревки!

На Марину кричать побаивался. Она всем на каждом шагу говорила:

— Я — мхатовка!

При этом хотелось встать, снять шляпу и обращаться к ней только по имени-отчеству. Хотя на самом деле она была но МХАТе без году неделю.

Мхатовка! Подумаешь — невидаль! Я сама могла бы называться мхатовкой, если бы не моя рассеянность. Да, я действительно однажды забыла люстру в троллейбусе. Новую, только что купленную. Загляделась на кого-то и так отчаянно кокетничала, что вышла через заднюю дверь без люстры: на одной руке сумочка, другая была занята воздушными поцелуями. Но со МХАТом все получилось значительно хуже.

Боже, меня пригласил на встречу сам Немирович-Данченко! Я пришла в его кабинет, с волнением ступая по мхатовским сукнам фойе и коридоров, сидела перед ним в кресле, любуясь его необыкновенной бородой. Знаете, что в ней было необыкновенного? Только не смейтесь! Она на самом деле светилась! От нее исходило сияние. Перевернутый нимб — не над головой, а под подбородком, как слюнявчик у ребенка. Немирович предложил мне работать во МХАТе.

— Вы можете подумать, дорогая. Я понимаю, приглашение в наш театр способен изменить всю жизнь актрисы, — сказал он.

— Что тут думать, — выпалила я. — Я согласна, конечно. Согласна!

И, прощаясь, когда Немирович поцеловал мне руку, проникновенно произнесла:

— Спасибо, спасибо вам, Василий Петрович! Этого дня, Василий Петрович, я никогда не забуду!

А наутро секретарь Немировича мне сообщила:

— Приказ о вашем зачислении в труппу Художественного театра Владимир Иванович отложил. Отложил, увы, навсегда.

— Господи, Фаина, объясни, почему ты назвала Владимира Ивановича Василием Петровичем, — удивился Качалов, с которым я поделилась своим горем. — Ну, Василием — это я могу понять: ты в это время думала обо мне, как мы вместе выйдем в «Вишневом саде». Но откуда взялся Петрович? Еще один роман?!

Роман со МХАТом, о котором я мечтала, не получился. Аде Войцик с Пырьевым тоже, конечно, безумно не повезло. Ее угораздило родить ему ребенка. Сыграла она в его «Конвейере смерти» и «Партийном билете» отлично — она вообще настоящая актриса, хоть и не мхатовка. И пить не умела.

Но когда Иван остался без работы, кормила семью.

А потом ему понадобилась актриса, которая плясала бы и пела в полях, исходящих невиданными урожаями. Ада и на это оказалась неспособна. А какие у нее выразительные глаза! Не говорю о «Мечте», но у Эйзенштейна во второй серии «Ивана» какая она Глинская! Вроде и роли нет, а молодец!

Я с Пырьевым спорила до хрипоты. Ситуация в этой «Любимой девушке» — на уровне дебила.

Любимая любит любимого, простого рабочего, собирается родить от него ребенка, но не хочет, чтобы на заводе знали об их браке. Как вам это нравится? Ничего себе конфликтик состряпали?!

— Она — человек стеснительный, боится, что ее засмеют, — объясняет мне Иван.

— Так как же вы хотите, чтобы я к этой дуре относилась с симпатией?

— Из женской солидарности, — предлагает он.

— Но ведь я тетка ее мужа и не могу встать на сторону предающей племянника кретинки!

В роли Мани, тетки Добрякова в фильме «Любимая девушка»

— Фаина, не упрощайте! Речь идет о психологической драме! — сказал он и твердил это всю смену, до посинения. Извел меня окончательно, а роль-то — выеденного яйца не стоит!

— А как же быть с «Нет маленьких ролей — есть маленькие артисты»? — спросил я. — Вы же сами не раз вспоминали Станиславского!

— Вспоминала! И напрасно. Ошибся великий. Маленьких ролей предостаточно. Из них получаются такие же большие, как из дерьма — пуля! И еще. Один совет в нашей стране советов. Запомните: за все, что вы совершаете недоброе, придется

расплачиваться той же монетой. Не знаю, кто уж следит за этим, но следит и очень внимательно. Марина оказалась в той же ситуации, в какую по ее вине когда-то попала Ада Войцик: Пырьева увела другая. И расплата на этот раз, по-моему, самая жестокая. Какой нынче у нас год? Так вот считайте: с пятьдесят четвертого года, когда Марина сыграла у Пырьева последнюю роль — «Испытание верности» назывался этот ее далеко не лучший фильм, — прошло пятнадцать лет! И за это время в жизни признанной кинозвезды ни одной картины! Пятнадцать лет! Что может быть страшнее для актрисы?..

НЕ ТОЛЬКО АКТРИСА

Я уже говорил, что Раневская — соавтор почти каждой своей роли. А порой — единственный автор. Иногда, правда, ее соавторство минимально. С точки зрения вмешательства в авторский текст. Минимум, вероятно, в «Золушке» Е. Л. Шварца. Ф. Г. очень любила этого «современного сказочника», а роль Мачехи относила к числу тех, что принесли настоящую радость.

В одной из своих реплик возмущенная Мачеха говорит о «сказочном свинстве». Его Раневская успешно воплотила в своей роли. В ее Мачехе зрители узнавали, несмотря на пышные «средневековые» одежды, сегодняшнюю соседку-склочницу, сослуживицу, просто знакомую, установившую в семье режим своей диктатуры. Это бытовой план роли, достаточно злой и выразительный.

Но в Мачехе есть и социальный подтекст. Сила ее, безнаказанность, самоуверенность кроются в огромных связях, в столь обширной сети «нужных людей», что ей «сам король позавидует». Причем у Шварца король не завидует Мачехе, но боится ее (это король-то!) именно из-за этих связей.

— У нее такие связи — лучше ее не трогать, — говорит он.

Мачеха-Раневская прекрасно ориентируется в сказочном государстве, она отлично знает, какие пружины и в какой момент нужно нажать, чтобы достичь цели.

Пусть сказочно нелепа задача, которую она себе поставила, — ее и ее уродливых дочек должны внести в Книгу первых красавиц королевства, — но средства, которыми она пытается добиться своего, вполне реальны. Мачеха знает: нужны прежде всего факты («Факты решают все!» — лозунг!), нужны подтверждения собственного очарования и неотразимости, а также аналогичных качеств ее дочерей. И начинается увлекательная охота за знаками внимания короля и принца: сколько раз король взглянул на них, сколько раз сказал им хотя бы одно слово, сколько раз улыбнулся «в их сторону». Учету «знаков внимания высочайших особ» Мачеха и ее дочки посвящают весь сказочный королевский бал.

Это одна из замечательных сцен фильма. В ней все смешно: и то, чем занимается милое семейство, и то, как оно это делает. Раневская здесь, повторим, минимальный соавтор Шварца-сценариста, но полная хозяйка роли. По сценарию дочки сообщают матери о знаках внимания, и та, зная силу документа, немедленно фиксирует в блокноте каждый факт. Ф. Г. ничего не добавила в текст. Она только повторила в несколько усеченном виде реплики дочерей.

На экране сцена выглядела так:

Анна. Запиши, мамочка, принц взглянул в мою сторону три раза…

Мачеха. Взглянул — три раза.

Анна. Улыбнулся один раз…

Мачеха. Улыбнулся — один.

Анна. Вздохнул один, итого — пять.

Марианна. А мне король сказал: «Очень рад вас видеть» — один раз.

Мачеха. Видеть — один раз.

Марианна. «Ха-ха-ха» — один раз.

Мачеха. «Ха-ха-ха» — один раз.

Марианна. И «Проходите, проходите, здесь дует» — один раз.

Мачеха. Проходите — один раз.

Марианна. Итого три раза.

Свои реплики Раневская произносила меланхолически-деловито, как бы повторяя слова дочерей для себя. Притом она с легкой небрежностью вела запись в блокноте — точно так, как это делают современные официанты. Закончив запись, Мачеха, не моргнув глазом, подытожила ее тоже не менее «современно»:

— Итак, пять и три — девять знаков внимания со стороны высочайших особ!

Проба на роль мачехи к кинофильму «Золушка»

Реплика неизменно вызывала смех. Находка Раневской вскрывает немудреный подтекст роли. В пору, когда любая критика чуть «выше управдома» находилась под запретом, подобные намеки находили у зрителя радостное понимание.

Я поинтересовался, как Евгений Львович относился к таким «вольностям» актрисы?

— О, он был очень доволен, — сказала Ф. Г., - хотя, как никто другой, бережно, даже болезненно бережно относился к каждой фразе, каждому слову в сценарии. Очевидно потому, что работал над своими вещами необычайно тщательно. Меня Шварц любил и позволил несколько отсебятин — правда, согласованных с ним.

Там была еще такая сцена. Я готовлюсь к балу, примеряю

разные перья — это я сама придумала: мне показалось очень характерным для Мачехи жаловаться на судьбу и тут же смотреть в зеркало, прикладывая к голове различные перья и любоваться собой. Но для действия мне не хватало текста.

Евгений Львович посмотрел, что я насочиняла, хохотнул и поцеловал руку: «С Богом!».

Теперь эпизод стал таким.

Мачеха, всхлипывая, садится к зеркалу, а Золушка подает ей диковинные перья.

— Я работаю, как лошадь. Бегаю (перо), хлопочу (перо), требую (перо), добываю и добиваюсь (перо), очаровываю (тощее павлинье перо).

Кстати, хотя все это и вошло с разрешения Евгения Львовича в фильм, но, издавая сценарий, Шварц остался верен первоначальному варианту своего текста и вымарал все мои «добавки», все эти «добываю и добиваюсь» — еще одно свидетельство, как относился он к написанному.

Мачеха — одна из лучших комедийных ролей Раневской. Но вот загадочная метаморфоза: злая Мачеха — объект ненависти читателей «Золушки» Перро — в фильме вызывает восхищение и восторг. Даже юные зрители, которые часто острее взрослых воспринимают зло, встречают ее появление на экране с радостным оживлением. И по окончании фильма говорят о ней не с возмущением, а с любовью.

И при этом Мачеха ни на секунду не перестает быть «отрицательной». Ее чванство, хамство, тирания обрисованы и сыграны выпукло, четко, без полутонов. Даже покидая поле битвы, она не желает признавать поражения. «А еще корону надел!» — успевает она бросить королю.

Мачеха Раневской глупа и мелочно коварна. Она, конечно, никогда не признается в этом, ибо считает себя талантливым стратегом и женщиной, умеющей жить. Как она хочет пробиться в высший круг — в королевское семейство! Для этого все средства хороши. «Капрал! Зовите короля! Туфелька как раз по ноге одной из моих дочек, — стремительно приказывает она, не собираясь примерять хрустальный башмачок. И тут же добавляет весьма многозначительно: — Я вам буду очень благодарна. Вы понимаете меня? Очень! (Тихо.) Озолочу!».

А как деловито-озабоченно осведомляется она, когда башмачок пришлось все же примерить и он оказался мал для ее дочерей: «Других размеров нету?».

И все это Раневская делает открыто, напоказ. Ее коварство — демонстративное, хитрость — обнаженная, глупость — откровенная. Раневская играет свою Мачеху так, что заставляет

зрителя насквозь видеть ее.

Демонстративное коварство Мачехи — не страшно, оно — смешно. Раневская сама смеется над ним и приглашает к смеху зрителя. Она убеждает — можно заставить зрителей ненавидеть героя и при этом им восхищаться. Восхищение — от мастерства актрисы. И при этом актриса, безусловно, любит своих героинь, как это ни парадоксально звучит.

«Золушка» — минимальный вариант вмешательства Ф. Г. в текст роли, прямого соавторства. Но кто установит ее многочисленные дописки текста в других фильмах?

— Как рождаются эти фразы, трудно сказать, — говорила Ф. Г. — Часто путем долгих поисков, когда мучаешься над текстом и не можешь понять, чего же не хватает. Иногда как бы само собой. Но без этого я не смогла бы играть. Вот в «Мечте», помните, я обнаруживаю пропажу денег, кидаюсь к прислуге, выхватываю у нее из-за пазухи пачку купюр и кричу:

— Смотрите, панове, у меня в доме воровка. Она обокрала меня, сломала комод и вытащила деньги. Это же мои деньги — они еще пахнут нафталином!

С Эрастом Гариным в фильме «Золушка»

Последняя фраза про нафталин родилась на съемках — я нюхала деньги и громогласно объявляла результат. Без него вся сцена мне показалась малоубедительной: ведь запах нафталина здесь единственное доказательство, что к прислуге попали деньги именно из комода. И притом обнюхать собственные деньги, согласитесь, что для Розы Скороход — это точная, характерная деталь.

«С ДОСАДОЙ!»

Мы договорились пойти днем погулять по Кремлю.

— Полвека не было такой возможности. Надо же взглянуть, во что превратили большевики памятник культуры. И истории тоже, — сказала Ф. Г.

Но наш «главный» — Константин Степанович Кузаков — объявил прослушивание и обсуждение. Удрать после того, как я столкнулся с ним лицом к лицу в коридоре, было невозможно. Пришлось позвонить Ф. Г. и извиниться.

Потом она рассказала:

— Я ходила по Кремлю одна, дошла до царь-пушки, села и больше не вставала. Нет Чудова монастыря, нет знаменитых церквей и памятников. Но сидеть, размышляя о варварстве в горестном одиночестве, мне не дали. И все потому, что я оказалась брошенной на произвол судьбы. С вами ко мне почти не пристают, а тут я заделалась фотомоделью:

— Можно с вами сфотографироваться? А нам можно с вами…

— Конечно, с удовольствием, — лицемерила я, понимая, что прогулке конец.

Вот только солдатик один понравился. Он подошел, покраснев от смущения, как мак, и попросил:

— Моя мама с детства любит вас, и я тоже видел вашу «Золушку». Можно, я пошлю маме фотку с вами? И автограф.

Конечно, на «фотку» я не могла не согласиться! Нас щелкнул какой-то фотокорр и — не поверите — оказался честным человеком! Первый раз в жизни я получила от него десяток добрых бабушек, соблазняющих воина советской армии. Вадим Козин получил за это срок, а мне пока сошло с рук.

Ф. Г. выбрала одну фотографию, «самую лучшую», как она сказала, и надписала ее: «Милому Глебу — с досадой!».

— Такая я уж злопамятная, как шварцевская Мачеха, — сказала она и вдруг спросила:

— А вы боитесь Кузакова?

— Когда в редакции заговорили, что он сын Сталина, и лоб его, и овал лица, особенно надбровная часть, мне показались копией со знаменитых портретов, я испытал и любопытство, и непонятную робость. Но потом привык, как и все.

Короткое время я был ответсекретарем, с Константином Степановичем общался по нескольку раз на день, и, по-моему, мы сработались. Во всяком случае, он понял мой скулеж по привычной работе и жалобы на бесконечный поток планов — тематических, перспективных, квартальных, недельных — и

отпустил меня снова в корреспонденты. Он хороший человек. И добрый, хоть проколов не забывает.

— Злопамятность у него от отца. А доброта от матери, простой русской бабы, пожалевшей и согревшей когда-то ссыльного в ледяном Туруханске. Все русские женщины жалостливы по натуре. И я тоже, хоть и из другого рода, — вздохнула Ф. Г. — Россия нас делает такими.

А с вашим нынешним шефом я сталкивалась на «Мосфильме». Он ведь сделал оглушительную карьеру: чуть ли не в двадцать лет стал работником аппарата ЦК — шагнул из рядовых на самый верх, минуя положенные ступени. И дошел бы Бог знает до каких высот, если бы не смерть отца. На «Мосфильм» его прислали главным редактором, держался он скромно. Но если звучало: «Кузаков согласен», значит, картине открыт зеленый свет. Вот вам и странности нашей системы.

Закончила Ф. Г. неожиданно:

— А о Кремле я вам не скажу больше ни слова. Пока мы не совершим прогулку по его камням, увы, уже не священным…

ПРОГУЛКА ПО КРЕМЛЮ

В Кремль мы собрались месяца через два. Было уже тепло, деревья зазеленели.

— По правде говоря, мне и не очень хочется бродить здесь, — сказала Ф. Г., когда мы миновали Спасские ворота. — Одного раза вполне довольно. До революции, как вы, конечно, не догадываетесь, я не удосужилась посетить этот символ государственности. Другие были заботы, и ничего, кроме малинового звона на пасху — со всех сторон, и из Кремля тоже, — не запомнила. Меня, по легкомыслию, больше интересовал Мюр и Мерилиз — там мне Гельцер поднесла чудную Шанель № 5. На такие духи моих денег не хватило бы.

А потом Кремль стал закрытой крепостью, и я видела его только в кино. Смотрела на экране бесконечные физкультурные парады на Красной площади и не подозревала, что они — любимое зрелище Сталина и его подельника Гитлера. Михаил Ильич Ромм в своем «Фашизме» показал это.

Александров и Пырьев по поводу и без вставляли Кремль в свои фильмы. Иван даже умудрился засунуть его в эту ходульную мелодраму, где Ладынина всю картину страдает на одной краске. Не помню, как этот бред назывался.

— «Испытание верности», — сказал я.

— «Испытание зрителя», который может все снести, если чушь подслащена Дунаевским. Исаак Осипович, кстати, и был-то в Кремле от силы два раза, получая награды. Я тоже побывала на таком получении и на всю жизнь запомнила это.

Задолго до события составлялись подробные списки. Там указывалось все: место рождения, год, образование, работа, семейное положение и номер паспорта, конечно. Потом, недели за две до вручения ставили в известность, когда и к каким воротам явиться.

Москва, физкультпарад. 1938 г. Фото Э. Евзерихина

— Не забудьте паспорт! — предупреждали по телефону. Помню, часам к двум дня у Боровицких ворот, в садике, выстроился длинный хвост — никого не пускали, пока не выйдет время. Затем поочередно начали сличать фотографию в паспорте с наружностью, номера и прописку с тем, что значилось в списке, и так у каждого, каким бы известным он ни был. Пройдешь ворота — дальше ни с места, жди, пока всех не проверят.

Стою, оглядываюсь: нигде ни души, пустой тротуар к Кремлевскому дворцу, и только дюжина кагебешников возле нас, все в форме. Шестеро встали впереди, шестеро — сзади и повели нас колонной к Дворцу. «Как заключенных, — подумала я. — Только конвою не хватает ружей».

— Подтягивайтесь, подтягивайтесь, товарищи! — торопят нас.

Всем-то любопытно, вертят головами по сторонам, но нельзя!

А идти всего метров сто, не больше. У входа во Дворец — там такая медная табличка сверкала на солнце «Верховный Совет Союза ССР» — снова проверка, такая же дотошная, все уже измотались — сил нет. Поднялись по длиннющей лестнице, а уже три часа!

Появился Калинин, нет — Георгадзе. Расплылся в улыбке и сказал мне что-то об особом удовольствии, и я в ответ заулыбалась, а сама думала: «Скорей бы все это кончилось». Неуютно там, как в казарме. И бокал шампанского не поднял настроения.

А главное, дальше — то же самое, но в обратном порядке! «А

теперь-то зачем? — закипала я. — Ну, каждый получил свое, ничего не украл, — отпустите душу с Богом!». Нет, те же испытующие взгляды, каменные лица, будто и «Весну» никогда не видели, — это я ведь за Маргариту Львовну получала лауреатство.

Мы сидели на скамейке неподалеку от царь-колокола, никогда не звонившего, и царь-пушки, никогда не стрелявшей.

— А это и не нужно! — усмехнулась Ф. Г. — У русского народа — постоянная тяга к гигантам. Все самое большое, пусть и недействующее, — наше. Огромное и могучее. Отсюда и страсть к силе, поклонение всевластию, восторг от изуверства, сделанного сильной рукой.

Пойдемте на ту сторону — я вам кое-что покажу, — предложила Ф. Г., и мы ступили на зебру пешеходного перехода, но тут же раздался свисток одиноко стоящего военного:

— Вернитесь!

— Туда нельзя, — сказала Ф. Г., - а вы говорите «свобода, гуляй, где хошь!». Ну, так постоим здесь, и отсюда все разглядите.

Ф. Г. указала на Пыточную башню и стройную кирпичную беседку, крыша которой подпиралась пузатыми балястрами.

— Изящная, правда? — усмехнулась она. — «Нарекая» называлась. Оттуда два великих государя, и Иван и Петр, наблюдали за казнями, смотрели во все глаза, как на лобном месте рубили головы, на площади вешали бояр и стрельцов, а потом шли в Пыточную и измывались над близкими и приближенными, наслаждались, видя, как они корчатся на дыбе, а то и сами делали с ними кое-что. Почитайте «Епифанские шлюзы» Андрея Платонова. Он живописует издевательства Петра над англичанином, которого сам же пригласил строить канал между Доном и Окою, наподобие голландских, что с юности втемяшились в него. Петр достигал ивановской жестокости — и тут у писателя все достоверно.

Вообще, надо впитывать из первоисточников! Читать Костомарова, Ключевского — они оперируют только фактами, не оглядываясь на идеологию. Я сама не могла оторваться от них.

Как-то Анна Андреевна зашла ко мне:

— Фаина, что вы читаете?

— Переписку Ивана Грозного с Курбским. Она засмеялась:

— Вот вы вся в этом! Ну, кто еще в наше время додумается читать написанное в шестнадцатом веке?!

На Ивановской площади мы сделали последнюю остановку: пища духовная требовала смены. Ф. Г. указала на «золотое крыльцо»:

— Оттуда не только читали царские указы, орали на всю

Ивановскую. Оттуда юный Иван приказал разрубить на части живого слона, подарок персидского шейха, — слон не смог перед русским царем преклонить колена, не был этому обучен! И только что положенный на царство Иван с восторгом наблюдал, как из несчастного животного хлестала кровь, заливая площадь.

Меня всегда волновала загадка, почему Сталин так обожал этого изувера и упыря? На его счету сотни новгородцев, вырезанных по подозрению в измене, убийство сына и митрополита — грех первостепенный. А Сталин в беседе с Эйзенштейном сожалел, что Иван боярство «не дорезал»! Карамзин сравнил царствие Ивана с татаро-монгольским игом, еще более страшным. А Сталин аплодировал Алексею Толстому, написавшему по его заданию пьесу о сильной личности — «Трудные годы», и тут же запретил вторую серию эйзенштейновского фильма, где Сергей Михайлович отважился позволить этому государю испытать чувство вины от содеянного.

С кем мы будем сравнивать царствие Сосо? Всю жизнь он мечтал, чтобы страна поклонялась ему, единственному. Как пели с утра до вечера об этой кровавой коротышке — «самый большой, родной и любимый».

И еще одно, чтобы не забыть. Я, между прочим, все свои лауреатские значки, ордена, медали сложила в коробочку и надписала ее — «Похоронные принадлежности».

Московский Кремль

РОЛЬ В ЧЕТЫРЕ ЭПИЗОДА

Во время съемок фильма «Сегодня новый аттракцион» (они шли в Ленинграде) молодой режиссер Файнциммер, сын довольно известного кинорежиссера Александра Михайловича, у которого Раневская сыграла в фильме «У них есть Родина» и «Девушка с гитарой», сказал Ф. Г.:

— Как мне хотелось бы, чтобы вы снимались и у меня!

— Ну, принесите сценарий, — предложила Ф. Г., - я посмотрю и, может быть, что-нибудь придумаю.

Сценарий был «Первым посетителем». Ф. Г. согласилась написать для себя роль — на четыре небольших эпизода. Режиссер пришел в восторг:

— Это то, чего не хватало нашей картине. Класс уходящий — люди, не нужные революции! Замечательно!

Ф. Г. решила сыграть старую барыню, «аристократку». И как это часто бывает у Ф. Г., юмор, сатира оказались рядом с трагедией.

Вот эти эпизоды. (Действие происходит в Петрограде, в конце 1917 года.)

Первый. Утро. Из подъезда большого дома выходит дама в элегантном пальто, в шляпе с пером, кокетливо торчащим. На руках у нее болонка — Мими.

Где-то раздаются выстрелы.

— Что это? — испуганно спрашивает дама у дворника.

— Это революция! — отвечает.

— Как, опять? Если мне не изменяет память, ведь уже была одна революция!

— То, барыня, Февральская, а это Октябрьская.

— Стоит мне выйти на улицу, начинается революция! Ну что ж, пойдем, Мими, придется нам все делать дома.

Эпизод второй. Главный персонаж фильма — Александра Михайловна Коллонтай едет в пролетке в Комиссариат соцбеспечения. Ее сопровождает солдат-охранник.

Героиня Ф. Г. видит эту сцену.

— Мими, скорее домой, — испуганно говорит догадливая дама. — Началась национализация женщин!

И поспешно скрывается в подворотне.

Эпизод третий. Полупустой трамвай. Дама в пообтрепавшемся уже пальто обращается к нескольким пассажирам в котелках — перепуганным обывателям.

— Господа, господа, потрясающая новость! — Котелки вплотную окружают даму. — Потрясающая новость. По городу

летает аэроплан. В аэроплане сидят большевики и кидают сверху записки. В записках сказано: «Помогите, не знаем, что делать».

Эпизод четвертый. Через несколько месяцев. В городе голод. Дама, уже без собачки, приходит в гости к знакомой. Холодно — пальто и шляпу с поникшим пером она не снимает. Комната, в которой ее принимает хозяйка, полупустая. Стол и несколько стульев — остатки роскошного гарнитура. Стеклянный буфет, в котором почти нет посуды. На стенах следы от картин, очевидно, проданных.

— Вы извините, — говорит хозяйка, — я сейчас отправлю Марфу на Садовую — мы ведь теперь пирожками торгуем. С кониной. А сами будем пить чай.

Хозяйка уходит на кухню.

Взгляд гостьи падает на корзинку, прикрытую клеенкой. Озираясь по сторонам, дама достает из-под клеенки пирожок и жадно ест.

Она оглядывает комнату. В глазах тоска и боль. На камине замечает бронзовую фигурку с циферблатом. Это, пожалуй, единственная «ценная» вещь в комнате. Дама быстро подходит к камину и прячет фигурку под пальто. Затем переходит к столу.

— Ну что же вы стоите, — улыбается, входя, хозяйка. — Вот и чай, присаживайтесь!

— Спасибо, дорогая, но мне пора, — темнеет, а сейчас сами знаете, как ходить по улицам! Я зайду к вам на днях. У меня столько потрясающих новостей.

Она целует хозяйку и идет к дверям. И тут из-под пальто раздается звон будильника. Дама начинает что-то громко, быстро говорить, чтобы «перекрыть» звон, потом замирает. Часы звонят. Когда они смолкают, дама поворачивается к хозяйке. Глаза полны слез. Безмолвно она подходит к камину, достает часы, ставит их на место и медленно уходит.

Режиссер заверял, что все снимет за несколько дней. И действительно, первый эпизод сняли довольно быстро. А дальше появился сценарист и сказал, что в свой сценарий «отсебятину» он не допустит.

Снятый эпизод и вошел в фильм, да и то в сокращенном варианте. Реплику «Стоит мне только выйти на улицу, и начинается революция» посчитали неуместной.

Фаина Раневская. Шарж Иосифа Игина

БУЛГАКОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Ф. Г. прочла мне две странички воспоминаний об А. А. Ахматовой для сборника, который готовился к печати. Там, между прочим, было упоминание о том, что Анна Ахматова читала ей роман «Мастер и Маргарита» М. Булгакова, тогда еще не опубликованный, и восхищалась гениальностью писателя.

Это было в Ташкенте. Стояло жаркое лето. Ф. Г. почти ежедневно бывала у Анны Андреевны, часто оставаясь у нее ночевать. «Мастера и Маргариту» они читали по ночам, когда спадала жара: Ф. Г. лежала на глиняном полу, Анна Андреевна на солдатской койке — чтение продолжалось порой всю ночь. Анна Андреевна, которую Ф. Г. называла ласково «Рабби», читала вдохновенно. Когда она прочла первую главу — о встрече у Патриарших прудов редактора журнала с таинственным незнакомцем, Ф. Г. стало страшновато.

— Кто это был, Рабби? — спросила она.

Глаза Анны Андреевны блеснули, затем сощурились, и она ответила почти шепотом:

— Дьявол, душенька!

— От страха я закричала во все горло, — вспоминала Ф. Г.

Ф. Г. преклонялась перед талантом М. Булгакова. Как только появился «Мастер и Маргарита» в журнале «Москва», она вновь перечитала его. И часто наш разговор возвращался к этому роману или к «Запискам покойника».

— Какое буйство фантазии, какие сказочные превращения, — говорила Ф. Г. о «Мастере и Маргарите» и его авторе. — Он умеет разрывать привычные связи и делать самые обычные вещи невероятными. Невероятное окружает вас в его романе со всех сторон.

И Ф. Г. поведала две небольшие «булгаковские» истории — фантастические и будничные одновременно. Обе они из анналов больницы, где Ф. Г. лечилась.

Генерал и известный художник умерли в один и тот же день, В один и тот же день назначили похороны. Покойников обрядили в черные костюмы, но служащие морга перепутали тела: на груди художника расположили все многочисленные генеральские награды. Когда в последнюю минуту, перед самым приходом родственников, служащие обнаружили ошибку, они, чертыхаясь, кинулись лихорадочно срывать с художника колодки с радужными лентами, ордена и медали.

Другая история — тоже по-булгаковски вероятная и невероятная. Родственники окружили гроб усопшего —

последние минуты в морге, в ожидании похоронного автобуса. Хлопнула входная дверь — от неожиданности все вздрогнули, и покойник тоже. Он открыл глаза и поднялся:

— Что это?..

Врачи не смогли отличить летаргический сон от смерти. И бедный покойник сидел в гробу в окружении родственников и стеснялся встать — на нем был роскошный пиджак, рубашка с галстуком, а на ногах… кальсоны — их задрапировали тканью и прикрыли цветами.

— Принесите скорее брюки! — просил воскресший.

— Ну разве это не Булгаков? — спросила Ф. Г. — И какая сатира на больницу, на наши порядки.

Но это не был Булгаков. Это была Раневская, по-булгаковски увидевшая события.

Ф. Г. часто просила меня: — Давайте-ка почитаем «Театральный роман», — и смеялась, радуясь каждой удаче писателя, необычности его образов, точности пародии и меткости оценок. Некоторые фразы она повторяла по нескольку раз, другие становились для нее «крылатыми».

Булгаков, мне кажется, восхищал Ф. Г. не только талантом. Он, как и Ф. Г., видел парадоксы там, где окружающим все кажется нормальным. И не свойство ли Раневской-актрисы, как и Булгакова-литератора, неожиданно оборвав смех, почувствовать боль за героя, перейти на тончайшую лирику. Их общий крест — бешеная любовь к театру. Никакие трудности, разочарования, несправедливости и обиды не могли отвратить ее. Неслучайно «Театральный роман» обрывается на фразе об иссушающей любви Булгакова к театру, прикованности («как жук к пробке») к нему.

Вечером того же дня, когда Ф. Г. говорила об историях в булгаковском духе, я по ее просьбе заехал к Елене Сергеевне — завез ей рецепт лекарства, которое можно достать только в Чехословакии (Е. С. Булгакова собиралась туда по приглашению чешских театральных работников). Она показала мне несколько новых книг мужа, изданных за границей, в том числе и «Мастера», появившегося в Италии спустя два месяца после публикации на русском языке, — надо же было суметь так быстро перевести и так великолепно издать его! Мы заговорили о премьере «Бега» у ермоловцев, вспомнили «Мольера» в «Ленинском комсомоле» и «Ивана Васильевича» в Студии киноактера.

Елена Булгакова

— Булгаковский год, — сказал с улыбкой я.

— Да, да! — подхватила Елена Сергеевна. — И все это невероятно и абсолютно в духе его книг. Я представила сейчас, если бы я ему сказала в то время, когда ничего не издавалось, все лежало без движения и без надежды, когда его произведения упоминались только с определенными эпитетами, если бы я ему сказала: «Миша, успокойся, вот придет пятидесятый год советской власти, и все будет издано: «Белая гвардия», «Мастер» и

«Записки покойника», пойдут пьесы — во всех театрах, по всей стране», — он, человек, обожавший невероятное, не поверил бы мне. Да и я не могла бы предположить такого. К 50-летию Октября МХАТ заново ставит «Дни Турбиных». На обвиненную когда-то бог знает в каких грехах пьесу — на «Бег» — все билеты закупают участники сессии Верховного Совета. Представляете, какая это фантасмагория! Но это так! И ни одного критического слова в адрес его произведений. Мне иной раз самой не верится, что все это реальность, что все это на самом деле.

ФИНАЛ ДЛЯ «СИНЕЙ ПТИЦЫ»

Мы пошли в «дальний гастроном» — он в правом крыле дома на Котельнической.

— Надо запастись провиантом — холодильник сдыхает от одиночества, — объяснила Ф. Г.

В магазине она подошла к застекленной витрине:

— Боже мой, кто это?

— Это куры, — сказал я. — Нет, здесь написано «цыплята».

— Отчего же они синие?

— Они недостаточно синие, — ответил я, процитировав Метерлинка.

— Браво! — тотчас отреагировала Ф. Г. — Вы знаете символистов. Впрочем, не удивляюсь: вы, как и они, верите в несбыточное!

Пойдемте туда, в конец магазина — там открыли кафетерий в стоячку. Возьмете бутылку пива и для меня отольете пол стаканчика. Мне нельзя, но когда очень хочется, то все равно нельзя, а я выпью: не сделаю глотка — умру тут же!

— Приносить с собой и распивать спиртное у нас запрещено, — сказала, улыбаясь, кафетерщица и протянула нам открывалку. — Для вас, товарищ Раневская, исключение. Бутылочку только на столе не оставляйте — сдадите мне.

Сделав несколько глотков, Ф. Г. снова заговорила о «Синей птице»:

— Какая это была удивительная сказка! Нет — притча. И только для взрослых. Алиса Георгиевна Коонен была Митилью. «Есть ли тут хоть одна честная душа — ее надо бы отправить на землю!» — восклицало Время в «Стране неродившихся душ» — вы не видели этого: большевики сразу запретили мистику.

— Я знаю пьесу по изданию Вольфа, дореволюционному. Мне даже приходилось делать доклад по Метерлинку, в Университете, — вспомнил я.

— Вы не фантазируете? В наше время с твердо объявленным сроком наступления светлого будущего — Метерлинк с его поисками неосуществимого счастья?!

— Наш педагог по зарубежке Елизавета Петровна Кучборская давала нам полную свободу в выборе тем.

— И вы выбрали Метерлинка. Я же говорила: вы неисправимый мечтатель. Я тоже всю жизнь гналась за Синей птицей, не осознавая это. Возьмите еще пива, — попросила Ф. Г., — я должна залить горькие мысли. Люди сегодня изменились, и время вместе с ними. Константин Сергеевич Метерлинка

обожал. Алиса Георгиевна говорила, с каким восторгом он пел со всеми актерами: «Мы длинной вереницей идем за Синей птицей! Идем за Синей птицей!». А те, что на витрине, так и не успеют стать достаточно синими: их разберут наши голодные сограждане. Неплохой финал для Метерлинка в Совдепии!

«РОМАН» ЭДВАРДА ШЕЛДОНА

— Первой моей значительной ролью я обязана Павле Леонтьевне Вульф, — сказала как-то Ф. Г. — События тех лет помню лучше прошлогодних. А ведь это 1917 год. Уже после Февральской революции. Я была в Ростове. Приехала с твердым решением — на сцену больше не рваться, подыскать себе работу скромной гувернантки со знанием французского.

Но почти ежедневно я ходила в местный театр, просто зрительницей. Здесь я впервые увидела Павлу Леонтьевну на сцене и была в восторге от ее игры. Впрочем, не одна я. Так вот, ни на что не надеясь, я вдруг решилась попытать счастья еще раз. Как-то я постучалась в двери, где жила Павла Леонтьевна. Открыла ее камеристка Наталия Александровна, всю жизнь проработавшая с ней и похороненная с ней в одной могиле.

— Вы к кому? — спросила она строго.

Я сказала, что я поклонница Павлы Леонтьевны и очень хотела бы видеть ее, чтобы поговорить с ней.

Наталия Александровна, внимательно окинув меня взором (я была худенькая, как палец, надела на себя лучшее, что у меня осталось, — еще парижское), пригласила войти.

Затем меня позвали в комнату к Павле Леонтьевне. Павла Леонтьевна поздоровалась со мной и предложила сесть. Как она была хороша — это, ну знаете, сама женственность! Другой подобной актрисы я не знала и не знаю до сих пор.

Она спросила, что я делаю, где играю. Я отвечала ей и сказала, что мой визит связан с просьбой:

— Мне бы очень хотелось, чтобы вы послушали меня.

— У вас хороший голос, — сказала Павла Леонтьевна. — Давайте поступим так: мне принесли пьесу «Роман», выберите что-нибудь из роли Риты Каваллини. Через недельку прочтете мне.

Павла Вульф была другом и учителем Фаины Раневской

Это решило все. Ровно через неделю я читала Павле Леонтьевне, и она согласилась работать со мной над ролью Каваллини.

— У вас есть талант, — сказала она мне.

В то лето Павлу Леонтьевну пригласили на сезон в Евпаторию. У антрепренера она выхлопотала мне дебют.

В трехэтажном Евпаторийском театре, казавшемся мне гигантским, — он и сейчас мирно стоит на площади, уже никого не поражая своими размерами, — состоялось мое первое выступление в большой настоящей роли. Вы должны обязательно прочитать эту пьесу — она, наверное, есть в ВТО, — тогда я смогу рассказать вам об этом еще кое-что.

Я отыскал «Роман» в Театральной библиотеке на Пушкинской. Это, как свидетельствовал титульный лист, было представление в трех действиях, с прологом и эпилогом Эдварда Шелдона. Перевод с английского. Действие происходит в Нью-Йорке, пролог и эпилог «в наши дни» (т. е. в начале XX века), остальные акты — в конце шестидесятых годов прошлого столетия.

Героиня Ф. Г. обозначена в списке действующих лиц как «знаменитая итальянская певица». При появлении Маргариты Каваллини в первом акте (на балу, в окружении толпы поклонников) автор дает пространную ремарку, описывающую ее: «Это очаровательная жгучая брюнетка итальянского типа. Она одета роскошно и ярко, но со вкусом. Вся ее тонкая фигурка утопает в огромном кринолине и в волнах сильно декольтированного платья. Черные локоны обрамляют с обеих сторон ее головку и спускаются мягкими кольцами на спину. В ушах длинные бриллиантовые серьги с подвесками, на шее бриллиантовая ривьера, масса драгоценностей. Сама она чрезвычайно напоминает маленького, сверкающего колибри».

Для зрителя, знающего Раневскую только по фильмам и поздним ролям, это описание покажется несколько противоречащим данным актрисы. Признаюсь, так воспринял его и я. Но, вспомнив несколько фотографий Ф. Г. двадцатых годов, понял, что сработал стереотип. Начинающая Раневская была иной. Даже самый ранний фильм Ф. Г. снимался, когда ей уже исполнилось тридцать четыре года. А ведь не случайно в ее первом контракте (девятнадцатилетней актрисы!) амплуа было обозначено безоговорочно — «героиня-кокетт».

Повезло ли Ф. Г. с дебютом?

По-моему, драматургия «Романа» невысокого качества. Романтическая история, рассказанная в пьесе, полна страстей, ссор и примирений, объяснений грозных и нежных. Некоторые сцены сегодня нельзя читать без улыбки:

Маргарита (с внезапным диким ужасом). Что же ви не малились? Зачьем ви сматрель так!

Он с внезапным порывом страсти хватает ее в объятия и прижимает к себе.

Том (торжествующе). Довольно! Мне казалось, что я пришел, чтобы спасти вас, но нет! Неправда! Я здесь потому, что люблю тебя. Люблю. Люблю больше всего на свете. (Начинает покрывать ее бешеными поцелуями.)

Маргарита (в полуобморочном состоянии). О!

Том (в промежутках между поцелуями). Дорогая, любимая моя, никогда еще в жизни не испытывал я ничего подобного. Мы

здесь… вдвоем… наедине… что за ночь…что за ночь…

Маргарита (в ужасе). Нет… нет…

Том. Она наша! Понимаешь ли, наша! Я так хочу!

Маргарита (отбиваясь). Нет… пожальста… пустить менья…

Том. Не пущу!

Маргарита. Я льюблю вас…

Вот уж где на самом деле действие построено на «бесконечной любовной интриге».

Когда я пришел к Ф. Г., она говорила с Ириной Сергеевной Анисимовой-Вульф, режиссером «Моссовета», дочерью Павлы Леонтьевны. Взглянув на часы, Ирина Сергеевна стала собираться:

— Мне пора!..

— Ирочка, не уходи ни в коем случае! — остановила ее Ф. Г. — Я Глебу дала задание, и он выполнил его — нашел и прочел Шелдона. Надо же ему продолжать образование!

— За счет Шелдона? — усмехнулась Ирина Сергеевна.

— И за его счет тоже. Образованный человек должен знать массу не только полезных, но и вовсе бесполезных вещей. Я думаю, по знакомству с бесполезным у нас и определяют уровень образованности!

— Парадокс в духе Уайльда! — Ирина Сергеевна была настроена скептически. — Откуда это у вас? Ведь Уайльда вы не играли!

— Зато играла Шелдона. К несчастью и счастью одновременно. Рассказывайте, — попросила Ф. Г. меня. Я рассказал о своих поисках и впечатлениях.

— Нет, нет, сюжета не трогайте! — остановила меня она. — Содержание изложу я сама. Ирина, ты тоже, конечно, не помнишь его?

И Ф. Г. начала точь-в-точь как миссис Сэвидж. Мне показалось, что и слова были те же.

— Одна очаровательная двадцатишестилетняя дама, итальянская певица, приезжает на гастроли в Нью-Йорк. На балу с первого взгляда в нее влюбляется Том Армстронг, молодой пастор, двадцати восьми лет. Он хочет жениться на даме, но случайно узнает, что до встречи с ним у нее был любовник.

Причем, как выясняется, не первый. То есть, не один. Пастор в смятении, свадьба расстраивается, певица в отчаянии рвет на себе волосы и уезжает из Нью-Йорка далеко-далеко, куда-то в Италию. Там, в одиночестве ей суждено провести остаток дней своих, покинув сцену в зените славы!..

Ф. Г. остановилась и посмотрела на нас: какой эффект произвел сюжет. Ирина Сергеевна криво улыбнулась, не выпуская изо рта папиросы:

— Я только удивляюсь вашей памяти!..

— А при чем тут это?! — отмахнулась Ф. Г. и вдруг погрустнела, — если в «Романе» есть живой характер, то это только Маргарита Каваллини. Моя первая большая роль. Я любила ее без памяти. Это как первая любовь, которую объяснить нельзя.

Ф. Г. вспомнила: репетиции с Павлой Леонтьевной продолжались более двух месяцев. Помимо всего прочего, приходилось овладевать азами актерской техники. У Ф. Г. «не шел» смех, и вот она часами сидит одна в комнате Павлы Леонтьевны «под замком» и учится смеяться. Роль написана на ломаном русском языке, и Ф. Г. берет у настоящего итальянца (нашелся такой в Ростове!) ежедневные уроки акцента!

«Роман» для Ф. Г. значил неизмеримо больше, чем проба сил. «Роман» утвердил Раневскую в желании быть актрисой.

Марка, посвященная Фаине Георгиевне Раневской

МУМИЯ ПО ПРОСЬБЕ

Январь. Собачий холод. В редакции все озабочены: приближаются траурные дни года, который в честь столетия со дня рождения объявлен ленинским.

— Ну и что вы собираетесь давать 21 января? — спросила Ф. Г. — «Апассионата» наверняка прозвучит раз десять за день, — но не по вашему ведомству.

— У нас — стандартный набор, — ответил я. — Фрагмент из горьковского очерка, «Разговор с товарищем Лениным» Маяковского и «Ленин и печник» Твардовского.

— А нового «Служил Гаврила в Наркомпросе» никто не сочинил?

— Новинку дадут дети — детская редакция. Корреспондент «Пионерской зорьки» разыскал старушку, которая когда-то сидела на коленях у Ленина. На елке в Сокольниках.

— Не может быть! Сколько же ей лет?

— Не так уж и много — лет шестьдесят пять, не больше.

— Представляю, что она расскажет! — Ф. Г. преобразилась — сгорбилась, поджала губы, будто у нее ни одного зуба, и прошамкала: — Как сейчас помню, посадил меня Владимир Ильич на колени, крепко обнял, снял с елки пакетик и сказал: «Кушай конфетку, детка!». Все это надо назвать «Пять минут на коленях у Ленина», воспоминания.

— Я вам другое хочу рассказать, на самом деле поразившее меня, — начал я. — Неделю назад мне вручили путевку — шефская лекция на Лубянке «Новинки советского экрана». Это в клубе КГБ, рядом с гастрономом. Никогда там не был. Предъявил паспорт, выписали пропуск, провели в зал — огромный, ни одного свободного места, идет семинар пропагандистов политсети.

За кулисами встретил руководитель в чине полковника — меня передали ему из рук в руки. Он попросил:

— Рассказывайте все, не обходя острых углов, у нас народ проверенный.

Я говорил минут тридцать, показал несколько фрагментов, ответил на десяток вопросов — присылали записочки, а потом в кабинете у этого полковника, угощавшего чаем с пирожными, наивно спросил:

— Сколько же у вас пропагандистов?

— Много, — сказал он и с гордостью добавил: — В нашей организации коммунистов больше, чем во всей Москве! И все учатся в политсети.

— Безумно интересно. Не тяните. Что дальше? — торопила меня Ф. Г.

— А дальше полковник в знак благодарности за лекцию вручил мне солидный том в кожаном переплете, сказав, что в магазинах его не купить, что издание это не закрытое, но для внутреннего пользования. Том оказался подробной биографией железного Феликса, и в ней я обнаружил то, о чем нигде и никогда не читал.

Дзержинский возглавлял комиссию по ленинским похоронам. И, оказывается, сначала Ленина закопали в землю. Как обычно.

— Не может быть! — воскликнула Ф. Г. — Я была в ту зиму в Москве и отлично помню: сразу же плотники сколотили мавзолей — небольшой, из неструганых досок.

— Да, так, но поставили его над обычным захоронением! Я, когда прочел об этом в дареном томе, ударил себя по лбу: как же я забыл стих Веры Инбер из «Родной речи» — его мы твердили в школе?

И прежде, чем укрыть в могиле
Навеки от живых людей,
В Колонном зале положили
Его на пять ночей и дней.

Как же не заметил: «в могиле», «навеки от людей укрыть» — поэты обычно не ошибаются.

— Поразительно! — Ф. Г. застыла. — Я ведь тоже читала Инбер. Она всегда искренна, хоть мастерила и «Джона Грея» с его «нет, никогда на свете, могут случиться дети» — это распевали по всем кабакам, и эти вот «пять ночей и дней».

Тут интересно другое. У Чапека есть удивительный рассказ, мой любимый. Это в пандан к наблюдательности поэтов. Там стихотворец стал свидетелем преступления: автомобиль сбил женщину и скрылся. Полицейский инспектор допрашивает поэта, пытаясь выведать детали, но тот ничего не помнит, ничего не заметил, он только написал сразу после происшествия стихи. Сейчас найду их — они очень любопытны.

Ф. Г. подошла к шкафу, извлекла из него сборник Карела Чапека и быстро перелистала страницы.

— Вот они:

Повержен в пыль надломленный тюльпан.
Умолкла страсть. Безволие… Забвенье.
О, шея лебедя! О барабан
и эти палочки — трагедии знаменья!

— Что это за шея, грудь и барабан? — недоумевает инспектор.

— Не знаю, там что-то такое было, — пожал плечами поэт.

И выяснилось, что в стихах он случайно зашифровал номер машины преступника — 235. Шея лебедя — двойка, грудь — тройка, барабан с палочками — пятерка! Вот вам поэтическое преображение действительности — в основе оно всегда реально.

Но, постойте, если «навек укрыть в могиле», как же тогда появилась мумия? — спросила она.

— И об этом сказано в книге! Только в конце марта, через два месяца после похорон, тело выкопали и приступили к бальзамированию. По просьбе руководителей братских компартий, чтоб было чему поклоняться.

Первый деревянный Мавзолей был возведён ко дню похорон Ленина — 27 января 1924 г.

КАК ОСКОПИЛИ ЧЕЛОВЕКА

После «Пышки», несмотря на успех, Раневская решила больше в кино не появляться — «слишком все это мучительно». Но однажды ей позвонил режиссер Игорь Савченко — он знал ее и по Баку, и по Камерному театру, и по роммовскому фильму. Савченко стал уговаривать Ф. Г. сняться у него в фильме, к работе над которым он приступил и который «не хочет видеть без Раневской».

— А что за фильм? — спросила Ф. Г.

— Это по Гайдару — есть такой молодой писатель. Картина будет называться «Дума про казака Голоту». Действие происходит в Гражданскую войну.

— И что же вы предлагаете мне играть?

— Роли у меня для вас, собственно, нет, — замявшись, ответил Савченко, — но она будет, как только вы согласитесь. Там в сценарии есть дьячок, вернее попик, сельский попик — к нему мальчишки приходят выменять йоду на сало. Скупой такой попик, прижимистый — капли йода даром не даст. Так вот, если вы согласитесь сниматься, мы сделаем из него женщину — он будет попадьей.

— Ну, если вам не жаль оскопить человека, я согласна, — сказала Ф. Г., а затем добавила: — Но надо еще подумать, посмотреть, попробовать.

— Верно, верно, — ухватился за ее слова Савченко, — вы совершенно правы! Надо попробовать. Приезжайте к нам на студию, здесь и разберемся.

На следующий день Раневская была в павильоне. Савченко предложил загримироваться — для пробы. Ф. Г. сделала это с удовольствием — попадья, каких она видела немало в Крыму и на Украине, была первой подобной ролью в ее биографии. По просьбе Ф. Г. попадья получила тощую косичку, которой уделяла в дальнейшем особое внимание.

Раневская вошла в павильон — здесь приготовили выгородку: угол комнаты в поповском доме с маленькими окнами, скамьей, клеткой с канарейками и отгороженным досками закутком для свиньи с поросятами — от них в павильоне стоял дух, как в свинарнике.

— Фаина Георгиевна, — попросил Савченко, — мы пока примеримся с аппаратурой, вы походите по комнате, поимпровизируйте, текста тут никакого нет. Просто попадья у себя дома — такой, скажем, кусок. Дайте свет, — распорядился он.

— И я, — рассказывает Ф. Г., - совершенно спокойно вошла в комнату, как в родной дом. Не знаю, почему так сразу отлично почувствовала себя преуспевающей попадьей, очень довольной жизнью. Подошла к птичкам, сунула к ним в клетку палец и засмеялась: «Рыбы мои золотые, все вы прыгаете и прыгаете, покою себе не даете». Наклонилась к поросятам и воскликнула: «Дети вы мои родные! Дети вы мои дорогие!». Поросята радостно захрюкали.

Осветители схватились за животы, а Савченко крикнул:

— Стоп! Достаточно! — И стал меня хвалить: — Это то, что мне нужно, чего не хватало фильму.

— Хорошо, — остановила я его. — К сожалению, я не волнуюсь только на репетиции, а на съемке умру со страху и, конечно же, так не сыграю, — и тяжело вздохнула: — Ну, давайте попробуем снимать.

— Снимать ничего не надо, — засмеялся Игорь Андреевич, — все уже снято!

— И знаете, что удивительно, — сказала Ф. Г., - эта первая проба, единственная, так и вошла в фильм — случай в кино, говорят, уникальный!..

ТАК КАКАЯ ЖЕ У НЕЕ СУДЬБА?

— Вы должны сейчас же рассказать мне все, что вы говорите обо мне, — сказала Ф. Г, когда я похвастал, что прочел о ней лекцию.

Лекция, как мне казалось, прошла удачно, слушали внимательно (это было занятие одного из университетов культуры), задавали вопросы, аплодировали фрагментам. Тема — «Работа Раневской в кино», но я немного говорил и о ролях, сыгранных в театре, о том, как Ф. Г. впервые пришла на сцену.

В ее первом контракте, который она подписала в 1915 году на зимний сезон, Раневская приглашалась в Керчь «на роли героинь-кокетт с пением и танцами». Антрепренерша обусловила плату — «35 рублей со своим гардеробом». Мне очень понравились эти формулировки, особенно если учесть, что «свой гардероб» умещался у дебютантки в одном чемоданчике.

— Откуда вы все это взяли? — к моему сообщению о лекции Ф. Г. отнеслась очень настороженно и допрашивала меня с придирчивостью экзаменатора, решившего провалить абитуриента.

Я назвал книгу, которую прочел, и добавил:

— Я видел все ваши фильмы, многие спектакли. Кроме того, о многом вы рассказали мне сами.

— Книга, которую вы прочитали, бредовая, путаная, и я не знаю, что вы там почерпнули. Кроме того, я ничего вам не рассказывала. Нет уж, давайте устраивайтесь поудобнее, — она указала мне кресло, — и прочитайте мне вашу лекцию. И не улыбайтесь — я уже слыхала об одном типе, халтурщике, которого я и в глаза никогда не видела, — как он где-то выступал с рассказом обо мне. А потом пошли возмущенные письма от слушателей, почему я разрешаю говорить подобные бредни. Нет уж, рассказывайте, рассказывайте, я должна знать все — от слова до слова.

Я чувствовал ее доброе отношение ко мне и понимал, что беспокойство и гнев Ф. Г. вызваны обостренным отношением ко всему, что касается ее творчества. Убедить ее, что я не похож на того типа, можно было бы, наверное, если бы я прочитал ту лекцию снова. Но я не мог этого сделать.

Кадр из фильма «Человек в футляре». Раневская с Ольгой Андровской. 1939 г.

Я не актер, и задача повторить то, что я читал час назад, то есть сыграть, показалась мне непосильной. Кроме того, сразу стало ясно, что сказанное в ее отсутствие я не могу произнести при ней. Все мои оценки прозвучали бы фальшиво, неуместно и неприятно, как неприкрытая, явная лесть.

И еще мешало одно обстоятельство: разговаривая со слушателем, я обычно воспринимаю его как человека, которого хотел бы обратить в свою веру, убедить в том, что Раневская чудная актриса, помочь ему увидеть грани ее таланта, рассказать о сочетании трагического и комического дара в одном лице. Убеждать в этом Ф. Г. было бы нелепо и смешно! А без такого стремления доказать, убедить мое сообщение делается аморфным и никому не нужным.

— Я говорил, что роль госпожи Луазо... — замямлил я и никак не мог избавиться от этого оборота — «я говорил, что»...

Но Ф. Г., к счастью, и не ждала от меня лекции. По мере довольно унылого изложения основных тезисов она успокаивалась, выражение подозрительности исчезло с ее лица. И вдруг — взрыв.

— А в заключение, — сказал я с облегчением, — я говорю, что Раневская прожила в кино яркую, интересную, счастливую жизнь. Она много сыграла, и, конечно, еще не раз мы увидим…

— Постойте, как вы говорите — счастливую?! — Ее брови сдвинулись, а глаза стали грозными, ястребиными, как на фотопробе Старицкой. — Счастливую?! Это у меня счастливая

жизнь в кино? Да как у вас повернулся язык?! Счастливая?! Когда я столько раз снималась в дерьме, когда не сделала и половины того, что могла бы сделать?! Есть ли у меня в кино еще хоть одна роль на уровне «Мечты»? А сколько бы я могла сыграть! Где эти роли?! О каком счастье вы говорите?!!

— Вы не правы, — сказал я со всей твердостью, на какую был способен, — вы неправы. Вы можете быть не удовлетворены собой, но зритель знает вас по ролям, которые он любит…

— Зритель! Что понимает ваш зритель, кроме «Муля, не нервируй меня»!

— Это был не тот зритель. Такой зритель на лекцию не придет. Пришли люди после рабочего дня и слушали о вас и смотрели на вас в течение полутора часов. Вы можете говорить, что мало сделали в кино, но сегодня мы смотрели фрагменты из «Пышки», «Мечты», «Подкидыша» (Ф. Г. вздрогнула и поморщилась), да, «Подкидыша», где вы сыграли не просто жену-деспота, но и женщину, которая хотела быть матерью и страдает оттого, что лишена радости материнства, — не так уж мало! Затем чеховскую «Свадьбу», блестящую работу!

— Какое место? — спросила Ф. Г. уже тише.

— Самое лучшее — сцену за столом: «А ежели мы не образованные, чего же вы к нам ходите? Шли бы уж лучше к своим, образованным», и затем: «Приданое пустячное? Пожалуйста, взгляните, гости дорогие!».

— А как меня Абдулов адской смесью поит, не показывали? — уже почти спокойно спросила Ф. Г.

— Нет, это в другой части, — бросил я мимоходом. — Но вы посмотрели бы, как принимают зрители «Свадьбу» — смех, аплодисменты.

— Там актеры очень хорошие, — сказала Ф. Г. совсем миролюбиво.

— Да, актеры, но в этой сцене ваша роль главная!

— Да? — удивилась Ф. Г. и вдруг улыбнулась. — Я, когда в «Человеке в футляре» снималась, решила говорить одну фразу. Играла я жену инспектора гимназии — у Чехова она бессловесна. Фраза такая: «Я никогда не была красива, но постоянно была чертовски мила».

И вдруг она стала говорить, вспоминать еще и еще.

— Фаина Георгиевна, почему бы вам не написать обо всем этом? — спросил вдруг я.

— Вы хотите получить пособие для лекции? — улыбнулась она.

— Нет, по-моему, это было бы интересно.

— Вы так думаете? А я думаю иначе. «Писать мемуары — все

равно, что показывать свои вставные зубы», — говорил Гейне. А я бы дала скорее себя распять, чем написала бы книгу «Сама о себе». Если зрители запомнят меня такой, какой видели на сцене и с экрана, больше ничего и не надо.

ТЕАТР НА КРАЮ МОСКВЫ

В Камерном театре Раневская пробыла недолго. «Патетическую сонату», которую театровед А. В. Февральский отнес к ряду постановок Таирова, «получивших одобрение советского зрителя», вскоре сняли с репертуара. Раневской пришлось расстаться с Зинкой, принесшей ей известность среди московских театралов. Расставание это стало печальнее оттого, что в Камерном у Ф. Г. других ролей не было.

В это время ей предложили перейти в Театр Красной Армии (ТКА), посулив интересную работу. Желание играть заставило Раневскую бросить сцену знаменитой труппы и погнало в небольшой коллектив, не имевший шумного успеха, выступающий в далеко не театральном районе Москвы, на краю ее, близ Марьиной Рощи, еще сохранявшей в те годы недобрую славу. На решение Ф. Г. повлияло, и может быть, даже в первую очередь, то, что в ТКА играла П. Л. Вульф.

Алексей Дмитриевич Попов, пришедший в ТКА, мечтал здесь «создать лучший театр в Москве». Почти ежедневно он ходил на спектакли «текущего» репертуара.

В его обшитой зеленым коленкором тетрадке появляются подробные записи.

Ф. Г. вспоминала беседы Попова с труппой, его блестящие разборы актерских работ, где он всегда представал удивительным рассказчиком.

Зеленая тетрадка хранится теперь в Центральном государственном архиве литературы и искусства. Вот он беседует с Раневской. В маленьком кабинете, украшенном длинным и узким трюмо — наследством института благородных девиц, они вдвоем. Разговор не был коротким — короткой стала его запись. Попов замечает: «Тяготение к трагедии».

Центральный академический театр Российской армии (до 1951 года — Центральный театр Красной армии, с 1951 по 1993 гг. — Центральный театр Советской армии)

Он попросил Ф. Г. рассказать о режиссерах, с которыми она работала, о том, как она готовит новые роли. Слушал внимательно, с очень серьезным лицом, одобрительно кивая. В конце своей записи он вывел в зеленой тетрадке длинное, занимающее почти целую строку слово: «Режиссероненавистничество».

А через два месяца Раневской, которую Попов позже назовет «великолепной актрисой», была поручена главная роль в пьесе А. М. Горького «Васса Железнова». Поставить спектакль предложили режиссеру Е. С. Телешевой.

ДОМ С БЕЛЬЭТАЖЕМ

— Я предлагаю сходить на выставку персидской миниатюры, — сказала Ф. Г., -это в Музее восточных культур, недалеко от Никитских.

В музее оказалось тихо и пустынно. Контролерша, седая женщина в вязаной кофте «бурдового» цвета, узнала Ф. Г., заулыбалась, вышла навстречу:

— Товарищ Раневская, просим, просим вас, проходите!

— Немедленно купите билеты, — прошептала мне Ф. Г., что я и сделал, протянув рубль той же седой женщине, которая, громко восхищаясь «Подкидышем», оторвала мне два талончика из оберточной бумаги.

— Ну как же так? — оторопела она, получив эти талоны из рук Ф. Г. — Я же пригласила вас. Проходите бесплатно!

— Нет, дорогая, — сказала Ф. Г., - музеи — единственное место, где я непременно беру билеты. Иначе, как говорится, ваша антреприза прогорит!

Ф. Г. была права: антреприза восточных культур, видно, уже впала в кризис: плохо освещенные залы с экспонатами, затхлый воздух — чтобы не терять тепло, окна, очевидно, вообще никогда не открывают.

— Ах, сюда бы Евдокию Клеме с моим «Вихрем». Этот пылесос всасывает не только очки и рецепты, но и мусор тоже, — вздохнула Ф. Г., увидев тканое панно, посеревшее от пыли.

Но в залах, где находилась выставка, было лучше — и светлее, и чище. Ф. Г. с увлечением стала рассматривать миниатюры, находя в них бесчисленные прелести — в линиях, красках, композициях и даже в коврах, на фоне которых застывшие женщины изображали танец живота для мужчины, курившего длинную трубку. «Это — чубук, — сообщила мне Ф. Г. — В Таганроге я много таких видела и однажды пробовала из него покурить, за что тут же получила от матери по губам».

Я кисло улыбнулся. Музей нисколько не увлек меня, я плелся за Ф. Г., выслушивая ее восторги. Впрочем, она быстро почувствовала мой настрой и взглянула в окно:

— Смотрите, только пять часов, а за окном уже темень. Нет, правильно говорят, славянам достались земли, когда все хорошие уже разобрали другие. Зимой в этой стране вообще нельзя жить — только проснешься, уже пора в постель.

И предложила ехать к ней ужинать. Я начал говорить, что завтра с утра на работу, а я еще не успел прочитать журнал с новыми рассказами, а послезавтра — запись, и нужно звонить

режиссеру.

— Оставьте. Я предлагаю вам только поужинать вместе. Есть одной все равно что, пардон, срать вдвоем.

Удивительно, как она умела переключить настроение. Почему-то вдруг стало весело, и, поймав машину, мы быстро добрались до Котельнической.

Отужинав, удобно уселись в изящных креслах с лебедиными шеями вместо ножек за столом той же породы («Натуральная карелка», — говорила не раз Ф. Г. с иронической гордостью) и закурили.

— «Вся семья вместе — душа на месте!» — улыбнулась она. — Были такие открытки в русском стиле с обязательным афоризмом, рожденным в фантазии идиота, ничего общего с фольклором не имеющей.

И продолжала:

— Я заметила, что персидская миниатюра не произвела на вас впечатления. Не собираюсь вас оправдывать, но вот что я думаю. В детстве нас многое впечатляет, иногда что-то случайно увиденное куда-то там западает, остается в подкорке, в подсознательном или еще где — не помню, как это определяют психологи, и Фройд тоже. Именно в детстве, может быть, даже раннем, когда ребенок — это в пословице подлинно народной говорится, — когда ребенок умещается не вдоль, а поперек скамьи. И потом через десятки лет, если мы сталкиваемся с чем-то, что незримо связано с впечатлениями детства, мы моментально настораживаемся, задумываемся, пытаемся разгадать, что нас заинтересовало. Я всегда боюсь обобщать и всегда нахально делаю это. Исхожу из собственного опыта.

Москва 30-х годов XX века

В нашем городе жило много инородцев — так их называли — греков, турок, персов. И вот однажды все наше семейство пошло в гости к персу, очень богатому человеку, торговавшему нефтью, может быть, и добывавшему ее. Или он был турок? Нет, кажется, все-таки перс. Брат называл его «персюк». И потом, когда подали десерт, хозяин сказал: «Персики — дар Персии!»

И я впервые установила связь между этими такими близкими словами и восхитилась этому. И жена у него была, несомненно, персиянкой — такой, как у Степана Разина. «Обнял персиянки стан!». Талия у нее была узкая-узкая, как на миниатюрах, а брови сходились на переносице тонкой галкой, как у танцовщицы Тамары Ханум. Хотя Тамара считается звездой Узбекистана, не Персии. А на самом деле она — еврейка, умеющая готовить лучший плов в мире.

В детстве я ела отвратительно, оттого и была худенькая как тростинка. И тут, посидев немного со всеми за столом, я, несмотря на строгие взгляды родителей, стала кукситься, слезла со стула, пыталась уткнуться маме в колени и получила разрешение хозяина погулять по дому.

Вы не представляете, что это был за дом! Я не знаю, сохранился ли он? С бельэтажем, в который вела роскошная беломраморная лестница, с залом орехового дерева, огромным, в два этажа, окном длиною метров в сто, мне показалось оно гигантским, и через него — вид на сад с фонтаном, водоемом, плакучими ивами и белыми лебедями. Все сказочно! День был пасмурный, и зелень и цвет были, как на картинах Сомова, — будто чуть размытыми. Я залезала на деревянные антресоли, шла через анфиладу комнат, а потом свернула в сторону и оказалась в одной из них. Очень странной и таинственной. Окна в ней были задернуты тяжелыми шторами, сквозь них почти не пробивался свет.

Я заметила в углу на столике светящийся предмет, подошла к нему — это был эпидиаскоп, так, кажется, он назывался. Или стереоскоп, не помню. Туда вставлялись картинки, и, когда вы смотрели на них через два окошечка сразу двумя глазами, они становились и крупнее, и объемнее, — казалось, можно войти в них и все потрогать руками.

И вот тогда я заглянула в эти квадратики-окошки и увидела прекрасную женщину, обнаженную, лежащую в позе Венеры Джорджоне, но только в другом состоянии: голова ее чуть закинута, глаза прикрыты и рот сладостно дышит. Это теперь я понимаю, что наткнулась на хозяйскую порнографию. А тогда она поразила меня своей невиданностью и вместе с тем

ожиданностью, будто я предчувствовала ее, знала о ее существование. Я помню, мне стало жарко, в висках застучало, но перестать смотреть и мысли не явилось.

Я нажала рычажок — картинка сменилась: еще более роскошная женщина смотрела на меня. Потом — другое, два здания, гладкостенные, без окон, со стрельчатыми куполами. Только спустя мгновение я поняла, что это женские груди. А на следующем снимке увидела странный лес, деревья без листьев — скорее, лозняк над черным провалом. И все это — и лес, и черный провал — находилось меж двух лысых гор. Я долго рассматривала эту картинку, и когда поняла, что лысые горы — коленки женских ног, страх охватил меня. Это было необъяснимое предчувствие беды.

Я стремглав выскочила из затемненной комнаты и побежала. В зале с окном-стеной остановилась: сообразила, что появиться за столом с глазами, полными слез, не могу. Постояла-постояла и вошла в столовую с будничным лицом и как раз к десерту.

И потом не раз видела эти картинки во сне.

Так вот я и думаю: кто же может контролировать наши детские впечатления? А если вообще мы их сами выбираем? По собственной воле?

Ф. Г. встала, подошла к своему столику, тоже из «карелки», открыла маленький ящичек и достала оттуда несколько листочков:

— Я тут отыскала для вас еще несколько коротеньких моих заметок, давно написанных. Да-да, конечно, связанных с детством. Но то, что вам рассказала, записать никогда, наверное, не решусь, а то, что вы прочтете, я вам не рассказывала, а в свое время записала. Записала для Алеши Щеглова. Мне казалось: вот он вырастет, я все так же буду ему интересна, он захочет узнать обо мне то, что сейчас ребенком еще не понимает, а меня уже не будет. В жизни все, правда, оказалось по-другому: он стал взрослым, у него началась своя жизнь, и, хотя я еще жива, написанное много лет назад ему уже не нужно...

Вот эти тетрадные листочки в клеточку, исписанные красным карандашом. Они о другом, но и о том же: «Меня иногда спрашивают: «Как вы думаете, идти мне на сцену или в архитектурный институт?».

Мысли тянутся к началу жизни — значит, жизнь подходит к концу. Попытаюсь взять у памяти все, что она сохранила, чтобы рассказать тебе, Алеша, как я стала актрисой.

Мне четыре года. В детскую входит бабушка, очень бледная, она говорит, что мама больна и что если мы, дети, будем шуметь и бегать по комнатам, мама умрет.

Мне делается страшно, и я начинаю громко плакать.

Потом я вхожу в комнату. В ней никого нет. На столе стоит ящик, очень красивый. Я заглядываю внутрь ящика — в нем спит мой новый братик.

Мне жаль брата, я начинаю плакать. Мне очень хочется посмотреть на свое лицо в зеркало. Я сдергиваю с зеркала простыню и начинаю себя рассматривать. И думаю: «Вот какое у меня лицо, когда я плачу оттого, что умер брат».

И мне уже не жаль брата, я перестаю плакать и думать об умершем.

Это был день, в который выяснилась моя профессия».

Фаня Фельдман с братом

МАРШАК — ПОЭТ

— Вот мы с вами говорили о Маяковском. А знаете, кого из своих современников-поэтов он ценил? — спросила Ф. Г. — Притом, что знал цену поэзии и высший балл ставил прежде всего самому себе?

Восторг у него вызывали стихи Маршака. Он не раз повторял строчки из «Цирка» — детской книжки с изумительными рисунками Лебедева. Вы не видели ее, не могли видеть — ее издали до Рождества Христова — в двадцатых годах и единственный раз! Маяковский нараспев — сама слышала, — рубя строки, будто Маршак писал, как он, ступеньками, произносил своим бархатным голосом:

По проволоке дама
Идет, как телеграмма.

Я, как идиотка, бегала по лавкам и покупала детские книжки Маршака и Лебедева — «Цирк», «Вчера и сегодня», «Мороженое». Лебедева потом объявили формалистом, а он делал искусство: минимум красок, графичность и условность. Голова, рубашка, брюки и ботинки — ни ног, ни рук, ни живота, а все ясно. И это тоже поэзия.

Я притащила эти книжки к Гельцер, — надеюсь, вы слыхали о такой приме балета, — читала ей все вслух, все. И про старинную лампу, что плакала в углу, за дровами на полу. До сих пор помню:

А бывало, зажигали
Ранним вечером меня.
В окна бабочки влетали
И кружились у огня.
Я глядела сонным взглядом
Сквозь туманный абажур.
И шумел со мною рядом
Старый медный балагур.
Не выдержала и расплакалась.

— Что ты, деточка? — спросила Екатерина Васильевна.

— Вспомнила детство. Это все про меня, — призналась. Она прижала меня к себе, как ребенка:

— И про меня тоже, но я не плачу. Слезы губят глаза. Ну, эти

стихи в самом деле поэзия. Горький, которого вы не цените, призывал сочинять для детей, как для взрослых, но лучше. Так писал у нас только Маршак.

— А Агния Барто, Михалков? — спросил я.

— Вы говорите о хорошем виршеплетении, а я о поэзии, — пояснила Ф. Г. — Маршак приучал детей к ней, Михалков — к рифмованным строчкам. И получал награды. Вы знаете, что ему дали Сталинскую премию за «Дядю Степу»?! Михаил Ильич Ромм после этого сказал, что ему стыдно надевать лауреатский значок.

Про Михалкова и говорить не хочу. Тут случай особый. Язвительный Катаев как изобразил его в «Святом колодце»! Придумал ему псевдоним — Осетрина, — он действительно похож на длинного осетра. И живописал его способность, нет, особый нюх, всегда оказаться среди нужных людей в момент, когда те фотографируются.

Маршак — человек другой породы. Поэт. Переводы сонетов Шекспира — шедевр, хоть ему и пришлось ломать голову, как превратить героя в героиню: стихи, воспевающие мужскую любовь, не пропустили бы ни в одном издательстве.

Я была у него в гостях, в новом доме на Садовом кольце — ужасное сооружение! Это возле Курского. На проезжую часть Самуил Яковлевич окна не открывал — там шум, как в ткацком цеху, днем и ночью. Машины, трамваи — гудки, звонки. Никто еще не додумался запретить сигналы, и все с восторгом распевали песни о «звенящей и гулящей красавице-Москве». Кошмар!

Маршак в этом доме встретил войну. И когда начались бомбежки, рассказывал мне, всегда стучал в стенку своей экономке-немке:

— Амалия Фридриховна, ваши прилетели!

— Доннер ветр! — ругалась она.

Самуил Яковлевич читал мне и переводы из Бернса — он тогда увлекся английской поэзией. Это — до войны, по-моему, после «Подкидыша», потому что он начал хвалить мою Лялю, и я с ужасом подумала: «Сейчас вспомнит Мулю!». А он только сказал:

— Вы сыграли трагическую женщину.

И все. Не стал объяснять, и я была благодарна ему.

Фаина Георгиевна считала Самуила Маршака поэтом с большой буквы

ЛЕНИНГРАДСКИЕ ГАСТРОЛИ

Из Ленинграда Ф. Г. прислала письмо — рассказ о бессонной ночи, проведенной в вагоне. Милая администрация вместо обещанного билета в двухместном купе сэкономила 2 руб. 20 коп. и вручила Раневской билет в четырехместное.

Чувство юмора, никогда не покидающее ее, помогло живо описать поездку:

«Очень Вы меня тронули, когда носились по перрону семимильными шагами, чтобы обменять билет. Кстати, на билете ясно сказано, что купе четырехместное.

После того как мы все заулыбались по поводу того, что я в купе осталась одна, и я послала Вам из окошка традиционные воздушные поцелуи, придя к себе, я обнаружила трех мужчин, которые выразили мне свои восторги в связи с тем, что они мои попутчики. Мужчины пахли всеми запахами «Арагви». Меня немного огорчило то, что я на диете, ибо у моих кавалеров были припасы острых закусок и вин.

Я кинулась к девушке-проводнице, которая предложила мне переселиться в отдельное купе, предупредив, что там никого нет, и не будет. Это купе обычно не имеет спроса — оно на колесах.

Я просидела ночь на своей койке, колеса неистово тарахтели, и я подпрыгивала, стукаясь головой о верхнюю полочку. Кроме этого неудобства, было еще одно — сортир рядышком, и все население вагона опорожнялось неистово всю ночь.

Лежать на койке не удавалось, — подскакивая, я рисковала очутиться на полу. Милая девочка-проводница часто наведывалась, чтобы удостовериться в том, что я невредима, за что и получила от меня десятку.

Население моего вагона выражало мне сочувствие, когда увидело меня утром синюю, несмотря на румяна.

Ленинград был обоссан дождем, нудным и холодным, как в глубокую осень».

Ф. Г. не написала только о том, что после бессонной ночи ей предстоял спектакль.

Через день я позвонил ей в гостиницу — она жила в 300-м номере «Европейской» — почитатели ее таланта предоставили номер, где она уже не раз останавливалась.

Первый спектакль, несмотря на бессонную ночь, прошел отлично. А играть было трудно — зал на две с половиной тысячи зрителей и никакой акустики. Появление на сцене Раневской встретили с таким энтузиазмом, что остановилось действие и Ф. Г. никак не могла начать роль. Овация разразилась и после

спектакля.

— Меня так принимали, что мне неудобно даже об этом рассказывать, — сказала Ф. Г.

«Неистовая любовь ко мне зрителей, — написала она, — вызывает во мне чувство неловкости, будто я их в чем-то обманула».

МАДАМ СОБАКЕВИЧ ПРЕДЛАГАЕТ

По просьбе Ф. Г. я послал ей в Ленинград свою статью «Сатира не для эфира?» — ее напечатали вместе с моим портретом в пятом номере «Журналиста». Ф. Г. прислала в ответ письмо:

«Милый Глеб, извините за бумагу цвета тифозного испражнения. Простите невольную невежливость — мое долгое молчание. Кажется, у меня началась еще одна болезнь: «аграфия». Не могу писать, но хочется быть вежливой, иначе Вы перестанете обучаться у меня хорошему тону. Приходится с помощью письма благодарить Вас за отправку сигарет, за журнал с Вашей статьей, где Вы изображены со следами былой красоты!

Статья Ваша снисходительна. Вы об этом безобразии, которое претендует на остроумие, пишете мягко и деликатно (очевидно, иначе нельзя). С этими «добрыми утрами» надо бороться, как с клопами, тут нужен дуст. Умиляющуюся девицу и авторов надо бить по черепу тяжелым утюгом, но это недозволенный прием, к великому моему огорчению. Все эти радиобарышни, которые смеются счастливым детским смехом, порождают миллионы идиотов, а это уже народное бедствие. В общем, всех создателей «Веселых спутников» — под суд! «С добрым утром» — туда же, «В субботу вечером» — коленом под зад! «Хорошее настроение» — на лесозаготовки, где они бы встретились (бы!) с руководством Театра им. Моссовета и его главарем — маразмистом-затейником Завадским.

Мне уже давно хочется загримироваться пуделем, лечь под кровать и хватать за икры всех знакомых.

Представьте, я еще жива. Это небольшая удача для меня, так как в этом страшном, так называемом академическом театре и на этих площадях я должна еще сыграть 6 раз, а пупок болит от криков.

Обнимаю. Ваша madame Собакевич, бывшая Раневская».

Мне всегда было непонятно — люди стыдятся бедности и не стыдятся богатства

ГРУСТНЫЙ СПИСОК

— Я ведь очень мало сыграла в театре. Давайте посчитаем, — Ф. Г. взяла листок. — О провинции вспоминать не будем — там просто огромное число ролей — более двухсот. Но вот Москва. В тридцать первом году я поступила в Камерный. И что же? Только одна Зинка в «Патетической сонате». И все. Затем ЦТКА — Васса Железнова и Мать в гусевской «Славе» — эту роль я очень не любила.

Я вспомнил книгу П. Л. Вульф и напечатанное там письмо Тренева, в котором, между прочим, есть несколько слов о Раневской, шутливо названной Треневым «красной примадонной», и ее Вассе. «Не посоветовалась со мной насчет Вассы и — дура, — замечает Тренев. — Я б ей категорически запретил эту трактовку, за которую ее правильно щипнули».

Я спросил, почему ругался Тренев.

— Не понравилась моя трактовка, — лукаво улыбнулась Ф. Г. — В печати меня упрекнули, что в моей Вассе недостаточно классового обличения. А я просто любила свою Вассу, восхищалась ею как человеком — для меня она была чем-то вроде Егора Булычева. И трагедия их сходна — сильные, умные люди, они не могут понять многое из того, что происходит вокруг, и оказываются за бортом.

Так вот Васса… А затем? Затем больше года перерыв.

Я вам не рассказывала, как меня пригласили в Малый театр? Тоже грустная история.

Я несколько лет играла в ЦТКА, в маленьком зале, где когда-то веселились благородные девицы. Теперь он называется Краснознаменным. Новое гигантское здание театра было уже почти готово. И мне было страшно подумать, что придется играть на сцене, на которую свободно въезжает танк. А этот огромный портал и зрительный зал, как Манежная площадь! И тут меня стал уговаривать Судаков, режиссер Малого театра, перейти к ним. Сначала я колебалась, но потом согласилась. Судаков мне обещал хороший репертуар, и, откровенно говоря, меня взволновала сама мысль — играть на сцене, по которой ходила Ермолова, да и вообще в труппе Малого было много знаменитостей. Подала Попову заявление об уходе. Уходила со скандалом — отпускать не хотели.

Алексей Дмитриевич, рассердившись, кричал на меня:

— Неблагодарная! Куда вы идете? В клоаку ретроградства! Что вы там не видели?!

И потом в газету «Советское искусство» дал заметку «В погоне

за длинным рублем». Это я-то за рублем гналась! Когда мне в Малом и прибавки никакой не сулили!

Но история началась уже после этого. Как я узнала, старейшины Малого оказались категорически против моего прихода в их труппу. И меня не приняли. Судаков об этом не сообщил, даже не позвонил. Из гостиницы ЦТКА, где я жила прежде, меня выставили. Вернуться к Попову я не могла — гордость не позволяла, и я переехала на кухню к Павле Леонтьевне. Там мне устроили ночлег.

Больше года я нигде не работала. Вы не знаете, что это был за год. Я почти ни с кем не говорила, обида терзала меня. Продавала свои вещи, спустила все, что у меня было, но никуда не ходила, не жаловалась — да и на что жаловаться? На то, что я оказалась не нужной театру? Я вообще не могу ходить по инстанциям с поклонами и просьбами — для меня это противоестественно. Павла Леонтьевна незадолго до смерти мне сказала: «Прости меня, я тебя воспитала порядочным человеком». Может быть, она права.

Не помню как — кажется, рассказал кто-то из актеров, но моя история стала известна Михаилу Борисовичу Храпченко — он тогда возглавлял Комитет по искусству, ну как теперь министр культуры. И вот Михаил Борисович вызвал меня — я тогда уже была «заслуженной», — задал несколько вопросов, упрекнул, что я не обратилась к нему раньше, а сам что-то писал. Затем протянул мне написанное. Это был приказ о моем зачислении в труппу Малого.

— Спасибо, Борис Михайлович (я тут же перепутала его имя-отчество), но пойти в этот театр я не могу. Я не смогу играть в коллективе, которому меня навязали приказом.

— Да, понимаю. Тогда сделаем вот что. — И он исписал новый лист бумаги. На этот раз это был приказ о выплате мне зарплаты за то время, что я не играла, — «за вынужденный прогул».

— Борис Михайлович (я продолжала настаивать на своей интерпретации), Борис Михайлович, мне дорого ваше внимание, но этих денег от театра я принять не могу. Я не работала — за что же деньги?!

— Ну и зря вы так сделали, — сказал я.

— Не знаю, не знаю. Но я не могла поступить иначе. Меня бы угнетало одно сознание, что я воспользовалась высоким покровительством. Давайте лучше подведем итог. Итак, в Малый я не попала. Затем киносъемки, потом война. Позже Театр Революции, «Моссовет».

Ф. Г. быстро писала на листке названия спектаклей, в

которых она играла.

— Итого шестнадцать. Это за сколько лет?

— С тридцать первого года — тридцать восемь лет.

— Шестнадцать ролей за тридцать восемь лет. Вот это преступно! Мало, безумно мало!

В роли Вассы Железновой. 1939 г.

СВЯЗЬ ВРЕМЕН

— Анна Андреевна была деликатнейший человек! Она терпела даже мою ненормативную лексику! — сказала Ф. Г. — Никогда не лицемерила, не делала вида, что мой мат ей претит. Только если я чересчур увлекалась — а такое в запале случалось, — мягко останавливала меня не словом, а улыбкой, жестом. Был у нее такой жест — царственный, — Ф. Г. изобразила нечто очень плавное. — Я ей говорила: «Таким жестом английская королева приглашала любовников в свою спальню». Она очень смеялась.

А как Анна Андреевна носила вещи! Я поражалась: простая кофта, довольно грубой вязки, смотрелась на ней мантией, а шарф, покойно лежащий на груди, выглядел горностаевой опушкой. Я думаю, дело даже не в том, что находилось на ней, а в том, как она держалась, несла себя! Каждый чувствовал, что перед ним Ахматова. Поэт! Понимаете, о чем я?

— Да, понимаю, — ответил я. — И тоже почувствовал это.

— Что почувствовали? — изумилась Ф. Г. — Это невероятно! В следующий раз вы мне скажете, что присутствовали на коронации Александра Третьего, Освободителя, и я должна буду верить вам. — В голосе Ф. Г. звучали обреченные нотки. — Я одного не могу понять, откуда у вас эта скрытность: я столько раз говорила вам об Анне Андреевне, и вы ни разу не сказали, что видели ее. Ну как же так можно, голубчик?! Я что, уже вышла из доверия?

— Мне стыдно вспоминать об этом, — сказал я.

— Если человек способен испытывать чувство стыда — еще не все потеряно! Не тяните и рассказывайте!

Я рассказал Ф. Г., что, когда мне на факультете журналистики утвердили темой диссертации Михаила Кольцова, только что реабилитированного, Михаил Михайлович Кузнецов, прекрасный критик и литературовед, сказал мне: «Все книги Кольцова уничтожены. Может, что осталось в спецхране, посмотрите там, предварительно получив допуск. А главное, отыщите людей, которые Кольцова знали. И все записывайте! Без этого вашей работе — грош цена. Начнете с Бориса Ефимова, его родного брата, крокодильцев поищите, кто жив еще. Вот с Виктором Ардовым поговорите, он старый волк, наверняка многое знает».

— И вы пошли на Ордынку? — поторопила меня Ф. Г.

— Виктор Ефимович назначил там встречу для беседы. В его квартире — идти через длинную подворотню, деревянная дверь

налево, и комнаты с низкими потолками и арочными сводами. Вы же там были?

— Не раз. Не отвлекайтесь, что дальше?

— Виктор Ефимович рассказывал много и очень интересно — я еле успевал записывать. А потом вошла очень изящная женщина и сказала: «Витя, неплохо бы выпить чаю — ты уже уморил гостя!».

— Это была Ниночка Ольшевская, его жена, — сказала Ф. Г.

— Наверное. Когда она расставила на столе чашки, пирожные, сыр и еще что-то, она подошла к узкой двери, постучала в нее и после «Да-да» распахнула: «Анна Андреевна, чаю не хотите ли?». И из узкой, как пенал, комнаты с одним окном вышла женщина точь-в-точь такая, какой вы сейчас ее описывали. С королевской осанкой. И длинным легким шарфом — он лежал на ее груди двумя параллельными линиями.

Меня представили ей. И я про себя изумился: «Ахматова! Та самая, что «блудница» из «кельи», — ничего другого, кроме этих слов идиотского постановления ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград», я, к стыду своему, не знал. И не читал ни одного ее стихотворения. И главное — в те минуты не испытывал своей ущербности, смотрел на Ахматову с любопытством, как на живой экспонат, на иллюстрацию к недавнему прошлому».

— Боже, какой позор! И вы в то время уже закончили Московский университет! Ведь это когда-то было мерилом образованности! Вам хоть удалось скрыть свое невежество?

— А я вообще ничего не говорил. Это Анна Андреевна обратилась ко мне: «Вы так оживленно беседовали с Виктором Ефимовичем?», и Виктор Ефимович тут же стал рассказывать о Кольцове. А Анна Андреевна сказала мне: «К сожалению, я мало чем могу помочь вам».

— Обратила внимание на вас! — фиксировала Ф. Г… — Нет, это просто удивительно, как она легко шла на контакты с новыми лицами! Говорили, даже искала их. У меня никогда это не получалось. Ну и что дальше?

— Она рассказала очень короткую историю, и я записал ее на всякий случай. В тот день на шее Анны Андреевны была еще и длинная цепочка, на ней часы, старинные, с серебряной крышкой, — такие в кино носят в кармане жилетки с цепочкой через живот. Она указала на них, говоря: «Михаил Ефимович, когда увидел эти часы, пришел в восторг, а я ему сказала: «Это наследство моего деда». «Счастливая, — грустно заметил он, — а я не знаю, был ли у меня дед.». Вот и все, но эти слова его мне запомнились».

— Хорошо! — сказала Ф. Г. и несколько раз повторила

кольцовскую фразу: — Не знал. Да и знать нельзя было, — и спросила: — А больше ничего не запомнили?

— Нет, пошел общий разговор о юморе, о старых журналах, сатириконцах. Виктор Ефимович принес подшивку «Чудака», читал оттуда анекдоты, а Анна Андреевна посоветовала мне разыскать актрису Юреневу, которая хорошо знала Кольцова.

— Верочку? — Ф. Г. в удивлении хлопнула в ладоши. — Красавицу! И она еще жива? Вы нашли ее?

— Фаина Григорьевна, у меня тогда составился длинный список, с номерами телефонов, иногда только с адресами. И я с утра бегал по Москве, если повезет, встречаясь не с одним человеком.

— Ну а с Верочкой? Она, наверное, очень изменилась?

— Я был у нее в доме на Стромынке, напротив университетского общежития. Записал все, что она сказала. Если хотите, как-нибудь принесу.

— Нет, вы не понимаете, как удивительно все, что вы рассказали! Жизнь наша складывается из каких-то периодов, отрезков, колеи. Они кончаются, мы возвращаемся к ним и забываем тех, с кем недавно общались. Живем другим. А там ведь, в прошлом, жизнь тоже продолжается. И вот приходите вы и сталкиваетесь с теми, кого я считала давно ушедшими. Это почти невероятно: связь времен будто и не распадалась!

Глеб Скороходов — советский и российский писатель, драматург, журналист, автор этой книги

«МИЛОЙ ЗОСЕ С ПОЖЕЛАНИЕМ СЧАСТЬЯ!»

В какой-то момент я понял, что она вряд ли когда-нибудь напишет о себе книгу, хотя все постоянно просили ее об этом. В последний раз, когда Ф. Г. уже совсем было согласилась, Нина Станиславовна Сухоцкая сообщила об этом в издательство. Но обрадованная редакторша в тот же день получила решительный и категорический отказ.

— Ну, о чем я буду писать? — говорила мне Ф. Г. — Память у меня отвратительная, скажут, «напутала старуха», да и кому это нужно все!

Память у нее прекрасная. Но у ее памяти есть свойство, остро необходимое прежде всего Раневской — комедийной актрисе. Охотнее всего Ф. Г. вспоминает эпизоды, в которых ей раскрылся юмор характера, юмор положения.

— Писать, как… (Ф. Г. называет фамилию известной актрисы), я не могу. На мой взгляд, так расписывать свои роли нескромно, а рассказывать об исполнении ролей другими актерами — болтовня. Это дело театроведов. Что же тогда остается? Анекдоты?

Ну, например: в Смоленске я играла пьесу Алексея Толстого «Чудеса в решете». Сейчас мало кто ее помнит, а ведь это очень смешная комедия. Там героиня получает от матери лотерейный билет, на который пал огромный выигрыш, и вот нэпман, положивший на этот билет глаз, приглашает ее в ресторан. А она приходит с подругой. Подруга — это я, Марго, девица легкого поведения. И вот, попав в ресторан, я решаю вести светский разговор. Боже, как я любила эту роль. С аристократическим выражением на лице — с тем аристократизмом, каким представляла его Марго, — я стремилась поддержать «светскую беседу»:

— У моих родственников на Охте — свои куры. Я была у них недавно, и они жалуются, что у кур — чахотка.

Потом я танцевала (я тогда худенькая была, стройная), пела, играла на гитаре — у меня был романс собственного сочинения: «Разорватое сердце». И все легко, беззаботно. А когда героиня получила выигрыш, то моя Марго, впервые в жизни увидав такую огромную сумму денег, смотрела на них с удивлением и радостной болью, а потом начинала беззвучно плакать. Не от зависти, нет. «Мадам, — говорила я, — вам этот капитал слишком легко достался». В этом была для меня суть роли.

Мне кажется, я хорошо играла. Павла Леонтьевна, очень помогавшая мне, хвалила меня, и, вероятно, не зря. Во всяком случае, когда я была проездом в Москве и побежала смотреть этот спектакль у Корша, то не узнала своей роли — ничего не было, ни Марго, ни ее характера, ни ее трагедии — несколько смешных реплик, и все.

А в Смоленске мою Марго очень любили. Как-то после спектакля ко мне подошли три молодые женщины, окружили меня, плакали, благодарили: «Вы так верно изобразили нашу жизнь». А потом попросили фотографии. Я всем раздала.

И вот лет через десять — уже в тридцатых годах, я тогда гастролировала на Дальнем Востоке, уже Вассу играла — ко мне подходит офицер и просит поговорить «конфиденциально». И рассказывает, что вот-де несколько лет назад ему довелось провести время с одной дамой, и у нее на стене он обнаружил мою фотографию. Такие же фотографии украшали стены ее подруг, что привело его в замешательство.

Представляете, — смеялась Ф. Г., - среди открыток веером — моя морда с надписью: «Милой Зосе с пожеланием счастья. Ф. Раневская». Или: «Жаннете на добрую память. Ф. Раневская». Я же не могла им отказать!

ОТ СМЕШНОГО ДО ТРАГИЧЕСКОГО

Было время, Ф. Г. вела дневник, изредка, но подробно писала о своих встречах с Пешковой, Щепкиной-Куперник, Качаловым, Эйзенштейном, Толстой, сохраняла письма, но потом при очередной чистке архива все уничтожалось. Это называлось «самоинквизицией» или «переоценкой ценностей».

Однажды, когда я приехал в Суханове, где отдыхала Ф. Г., я увидел на столике листы, исписанные ее крупным почерком (Ф. Г. писала размашисто, большими буквами, поэтому маленьких «тетрадных» листов не признавала).

В тот день мы долго бродили. Было солнечно, но холодно. Ф. Г. рассказывала о нравах отдыхающих, о дворце Суханова и его прежних обитателях. Ее взволновал рассказ о недавнем посещении дворца одним из его бывших владельцев — белым как лунь старичком, приехавшим взглянуть на родные пенаты.

— А теперь разрешите пройти в некрополь моих предков, — торжественно произнес потомок, надев по этому случаю свой лучший, конечно, черный костюм. В сопровождении несколько смущенной дирекции он направился к круглому зданию, увенчанному куполом, — семейному пантеону.

— Что у вас здесь? — остановился потомок, войдя в зал.

— Столовая, — улыбаясь, сообщила дирекция.

На месте могильных плит стояли столы, укрытые полиэтиленовыми саванами. В тусклом свете, пробивающемся сквозь купол, поблескивали приготовленные к обеду венки ножей, ложек и вилок.

— Я никогда не ем в этом зале, — сказала мне полушепотом Ф. Г.

Мы спустились к прудам. Здесь у воды трава была еще по-летнему зеленой. Ф. Г. рассказывала мне о своем детстве, о Таганроге, где она родилась, о странном доме с пятиугольными наклонными потолками — архитектор уверял, что все так и было задумано и он боролся с однообразием. Она вспоминала о первых шагах на сцене, о кровавых расправах в Крыму, о Ялте времен Гражданской войны, о первом крымском красном театре, где она работала.

Дом в Таганроге, в котором прошло детство Фаины Раневской

— Вы пишете? — спросил вдруг я.

— Тсс! — Ф. Г. поднесла палец к губам, как будто я сказал то, что никто не должен услышать, а потом кивнула с явным удовольствием, с каким дети сознаются в недозволенном, но увлекательном побеге в кино. — Да!

Однако в следующий приезд больших листов на ее столе я не увидел.

— А как воспоминания? — спросил я.

— Не спрашивайте об этом, — ответила Ф. Г. — Никому они не нужны, а я в роли мемуариста — фигура карикатурная.

Жаль. Книга была бы невероятно интересная.

Как-то, перебирая бумаги в одной из своих папок, Ф. Г.

наткнулась на уцелевшую страничку воспоминаний о детстве. Она протянула ее мне:

— Посмотрите и, если найдете интересным, можете переписать. Это имеет какое-то отношение к моей работе.

«В пять лет я впервые почувствовала «смешное».

У ворот городского сада, куда няня водит меня гулять, останавливается щегольской экипаж. Из экипажа торжественно выходит военный в блестящей парадной форме, в белых перчатках, деловито расплачивается с извозчиком, помогает выйти своей даме и маленькой девочке. Все они величаво входят в сад, где нет ни души. В том, что сад был пуст в сочетании с торжественным прибытием, я почувствовала комическое: приехали «себя показать», и никто не увидел…

С тех пор смешное я стала замечать почти в каждом, кто бывал у нас в доме. Мне стало нравиться замечать смешное, выискивать его — так определилась врожденная профессия. Этим я занимаюсь всю жизнь.

Помню себя в большой, пустой комнате только что отстроенного дома, куда семья наша должна была переселиться. Отец взглянул на потолок и обмер: потолки не были квадратными, обычными, они были косые, пятиугольные. Он стал бегать из комнаты в комнату, и всякий раз при виде перекошенного потолка глухо вскрикивал. Обежав квартиру, остановился перед уныло глядящим в пол архитектором — толстеньким рыжим человеком со вспухшими усами. Отец дико вращал глазами. Поймав его взгляд, архитектор сказал:

— Не ошибается тот, кто ничего не делает, — раскланялся и ушел.

Меня душил смех. И теперь, вспоминая дом, в котором я выросла, недоумеваю, почему никто в нашей большой семье над этим никогда не смеялся?».

«ЗНАЮ, ДЛЯ КОГО РАБОТАЮ!»

Мы сидели в ресторане ВТО. Вдруг к нашему столу кинулся человек. — Фаина Григорьевна! — воскликнул он (чехарда с отчеством Ф. Г. происходит так часто, что она уже давно не обращает на нее внимания. «Называйте как хотите, какое это имеет значение», — отвечает Ф. Г. любопытствующим).

— Фаина Григорьевна, дорогая! — говорил человек (это был Ролан Быков), чуть покачиваясь. — Вы не представляете, как я рад вас видеть!

— Здравствуйте, Ролан, здравствуйте. Вы что-то похудели, — сказала Ф. Г.

— Съемки замучили, — объяснил Быков. — Но вы были на нашем фильме?

— Нет, еще не успела.

— Если бы вы знали, сколько мук было с его премьерой, — быстро говорил он. (Речь шла об «Айболите-66», который долго не выходил на экран.) — Но я вам хотел сказать нечто очень важное. Когда я работаю, я всегда знаю, для кого я работаю, кому моя работа предназначена, на кого она рассчитана, кому я ее посвящаю. Этот фильм я делал для вас…

— Спасибо! — улыбнулась Ф. Г., а Быков, наклонившись к ней, горячо продолжал:

— Для вас, и вы поймете меня, для вас и еще для нескольких близких и дорогих мне людей.

— Спасибо, спасибо, Ролан!

Быков, поцеловав руку, отошел.

— Хороший актер, — сказала Ф. Г. — С ним я работала в этом моем позоре — «Осторожно, бабушка». Одного я только не понимаю: если делают фильм для меня, то, может быть, можно было бы и пригласить меня на премьеру? Странно, не правда ли?

Ролан Быков в фильме «Айболит-66», который он посвятил Раневской

«СТРАШНЫ НЕ ДЕНЬГИ, А БЕЗДЕНЕЖЬЕ!»

— Настроение у меня сегодня — отвратительное, — встретила меня Ф. Г. — Хоть в петлю лезь. А кто виноват? Паспорт, конечно. Но его на скамью подсудимых не потащишь и годы вспять не повернешь. Я все чаще вспоминаю детство, а это признак, что жизнь катится к закату. Вот и заговорила я красиво — и это тоже плохо: осточертело все на свете, и моя ироничность в том числе.

Сидела с утра, как дура, уставясь в потолок, думала, как вернуть аванс в ВТО, и снова проклинала Ниночку, втянувшую меня в аферу. Ну, получила я деньги, а куда они ушли!

Евдокия Клеме каждый свой приход пишет записки о расходах. Вытащила сегодня эту пачку и, прежде чем спустить ее в мусоропровод, стала читать. Жаль, счетов у меня нет и арифмометр на юбилей никто не подарил — это я намекаю, — она улыбнулась. — Мне бы сесть за старинную кассу с никелированным бюстом, нажимать клавиши и крутить ручку. Там было такое окошко с надписью «уплочено» и большим указательным пальцем, — может быть, тогда стало бы ясно, сколько я трачу на жизнь.

Откладывая один за другим листочки домработницы, Ф. Г. вела суровый подсчет.

— Итак, в январе месяце сего года я съела пять кило мяса, шесть кило рыбы, в один день 21 января, очевидно, в честь памяти Ленина, ушло кило ветчины: наверняка приходила Нателла, потому что на следующий день, 22-го, Евдокия Клеме вписала в счет еще кило ветчины, которую на этот раз съела я или вы тайно от меня.

— Ничего не тайно, — возразил я. — Вы сами сделали мне яичницу с ветчиной. Любящими руками, как вы сказали, и она оказалась необычайно вкусной.

— Любящими руками все вкусно, — подтвердила Ф. Г. — Но никогда не поверю, что вы уплели килограмм сразу!

Она протянула мне пачку листочков:

— Прошу вас, там, на кухне, откройте дверцу мусоропровода и бросьте их — туда им и дорога!

С одной причиной плохого настроения расправились, — сказала она удовлетворенно, — но что делать с деньгами, ума не приложу Ненавижу их, хотя точно знаю: страшны не деньги, а безденежье.

Я тут недавно возликовала: телевизионщики захотели снять на пленку «Сэвидж». Весь спектакль!

Боже, как хорошо! Это сколько съемочных дней наберется — в долговую яму меня не отправят! Стала мысленно делить шкуру неубитого медведя: прежде всего, верну аванс, долги, и, пожалуй, еще что-то останется.

Так нет же! Вчера после спектакля ко мне в уборную явились трое. И еще пришел оператор. С его лица не сходила улыбка. Я сначала улыбнулась ему в ответ, но потом поняла, как ужасно видеть постоянно улыбающегося человека, начинает казаться, что спектакль не кончился и я все еще в «Тихой обители».

Но диалог мой с дамами действительно дурдом. Я по три раза повторяла им одно и то же, они согласно кивали, оператор радостно улыбался, а разговор не двигался с места.

— Вы нас и не почувствуете, — уверяла режиссерша. — Мы снимем спектакль тремя камерами за один вечер! Вам ничего не придется менять.

— Так это и ужасно! — твердила я в десятый раз. — Артист не может на телевидении, где все сидят в первом ряду, играть так же, как в театре, — для зрителей и амфитеатра, и бельэтажа, и балкона.

— Я умею снимать комедии, — вставился, наконец, оператор. По-моему, он исхитрился улыбнуться еще шире.

— Голубчик, дело не в вашем умении! — у меня не было уже слов. — Мы играем наш трагифарс на сцене. На телевидении все это станет вампукой.

— Но нам нужна реакция зала, — настаивала партикулярная дама.

Ну что вы тут скажете!

— А может быть, стоит попробовать? — Мне очень хотелось, чтобы «Сэвидж» появилась на экране. — Если мы увидим зал, зрителей, ложи, то возникнут другие правила игры, мы поймем, что мы не в кино, а в театре!

— И вы туда же! — возмутилась Ф. Г, — Я думала, что разговариваю с профессиональным человеком, ведь вы слыхали, конечно, о таком понятии, как посыл. Имеющий уши да услышит! Когда я читала у вас в маленькой студии ардовский рассказ, я делала это для кого-то, кто сидел рядом, на месте микрофона. Вы потом наложили смех, эту идиотку с визгливыми всхлипываниями, аплодисменты, да, да, появилась атмосфера, но посыл остался тот же: не на зал, а на собеседника.

Но я гнул свое:

— Райкин, которого мы всегда снимали на публике, настоял однажды на чистом, студийном варианте и пришел в ужас: все

падало в пустое пространство, становилось менее смешным или не смешным вовсе. Он сам признался, что ему, привыкшему к реакции зала, играть было во сто крат труднее.

— Райкин — актер с большой буквы. Спектакль на радио и срежиссировать надо по-иному, и сценический ритм поменять. Райкин не мог не почувствовать это.

А дамы, потупив взор, признались:

— Снимать в студии мы не можем — нет денег.

Из меня сразу вышел весь запал. Однажды то ли в Гаграх, то ли в Сухуме — тогда врачи мне еще не запрещали юг, — две грузинки на пляже жаловались мне на безнравственность своей подруги.

— Так она просто блядь! — авторитетно заявила я.

— Нет, нет! — завопили они, — Но она соглашается за три рубля, понимаешь?!

Телевизионщикам я не показала своих рухнувших надежд, но за три рубля я не соглашусь ни при каких условиях.

В пьесе Н. Хикмета «Рассказ о Турции». 1955 г.

ИЗ ДРУГОЙ ОПЕРЫ

— Вчера заезжал Миша, подарил страшный укор — свою книжку, — протянула мне Ф. Г. увесистый том в супере, — и надписал его.

— «Любимой Фаине Георгиевне Раневской. Дорогому другу, товарищу и бесконечно талантливой (образцово-показательной) актрисе. Я работаю (во всяком случае, всегда стараюсь) с оглядкой на Вас: а как и что здесь сделала бы Раневская? Всегда Ваш! Мих. Жаров. 27/III 67. Москва», — прочел я и сказал: — Странно, не знал, что Жаров ваш друг и товарищ: вы и не вспоминаете его, а тут такие слова!

— Во-первых, не надо всерьез воспринимать автографы, даже если они сделаны заранее, дома.

Особенно типа «всегда ваш», — Ф. Г. была настроена серьезно. — Я сама видела, как в Доме литераторов бездарь раздала штук триста своих книг и на каждой написала «С любовью и от всего сердца», а и сердце, и способность любить потеряла, как только заняла в своем Союзе высокий пост.

Во-вторых, с Мишей у меня связана не только «Патетическая» в Камерном. Хорошо, что никогда не придется дарить ему мою книгу — написать на ней «с любовью» рука бы не повернулась. Не потому, что он плохой человек. Хитрый — да. Способный на коварство — да, хоть и привык в жизни к амплуа «души общества».

На меня у него давний зуб. Разве в этой вчерашней надписи — «образцово-показательная» — не чувствуется ухмылка?

Я удивляюсь, как вы, киновед, не слышали о сталинской оценке Жарова?! Я наверняка говорила вам о ней — вы не записали сразу, вот и забыли.

Это случилось сразу после второй серии «Ивана». Эйзенштейна и Черкасова Сталин вызвал на ковер — в Кремль, конечно, и очень поздно — после полуночи. Сергей Михайлович позвонил мне в четвертом часу, когда приехал оттуда, — я только задремала. Голос грустный, осевший, я даже удивилась:

— Сергей Михайлович, вы? Что-нибудь нехорошее?

— В каждой грустной истории, Фаина, можно найти и забавное, и приятное, — сказал он. — Меня сейчас раздолбал в Кремле вождь народов. Ему все не понравилось: и концепция не та, и историю я исказил, и Жаров-Малюта у меня не защитник царя, а ряженый, мол, во всех ролях он одинаковый. И тут я услышал единственную приятную вещь: «Раневская, в каких бы ролях ни появлялась, всегда разная. Она настоящая актриса». Так

и сказал.

— Ну, а что же будет с фильмом? — заволновалась я.

— Вторую серию придется похоронить. Тихо, без катафалка, факельщиков и оркестра, — ответил Сергей Михайлович.

Он ошибся: из похорон второй серии устроили шумное аутодафе, выпустили постановление, и вся критика что есть мочи трубила об ошибках режиссера. А я от сталинских слов ликования не испытала, да и ликовать на похоронах — не в моем стиле.

До Миши, конечно, дошли все оценки, но с ним мы никогда об этом не говорили. А тут вдруг Александр Михайлович Файнциммер присылает мне сценарий комедии «Девушка с гитарой». Я у него снималась не раз, и, кажется, неплохо, вы знаете мою Тапершу из «Котовского» и фрау Вурст из «У них есть Родина». Но комедий, тем более музыкальных, он не делал. Мне он сказал:

— Роль написана специально для вас, по моему заказу. И партнер ваш — Слава Плятт.

Прочитала сценарий, звоню ему:

— Саша, вы прислали полуфабрикат. Главная роль для девочки — он пригласил Гурченко после ее успеха в «Карнавальной ночи» — слабая, ей, как и нам, делать нечего. Нет комедийного решения характеров. Мы что, со Славой будем играть продолжение неудачного романа из «Весны»? Понимаете, в этом сценарии все вторично.

Уговаривал он меня не меньше часа, уверял, что в режиссерской разработке многое придумал, что из полуфабриката сделает конфетку.

И я, дура, поверила ему. Мы снимали в пятьдесят седьмом, а у него все в традициях сталинского кино. Гигантский магазин пластинок с танцевальным залом в колоннах, огромный кабинет директора с фантастическими окнами, ледяное ревю, в котором профессионалок выдают за самодеятельность. Фальшь на каждом шагу. Саша на этот раз работал на чужих огородах, хотел снять урожай с грядок, где ничего не сеял. Конфетки не получилось.

Я же просто вывалилась из фильма. Плятт сниматься не смог, пригласили Жарова. И вот уж он ни на йоту не сверялся со мной. Я в одну дуду, он в другую. Старалась сделать гротесковый характер, то есть на десяток градусов выше обыденного. А он — весь в быту, все мельчил, ничего крупного.

Пока шли съемки, я металась, злилась, все-таки надеялась, а вдруг что-то выйдет: в кино, случается, и один в поле воин. Не вышло — я там из другой оперы. Вспомнить стыдно. Благодарю Бога, что фильм в прокате провалился и его быстро забыли.

Фаина Георгиевна с Глебом Скороходовым. Санаторий им. Герцена. Май 1969 г.

ОРЛОВА НА ДОРХИМЗАВОДЕ

— Ваша мама, милая Гута Борисовна, вчера сказала мне, что вы поехали читать лекцию от Бюро пропаганды. Что на этот раз вы пропагандировали?

— Комедии Александрова тридцатых годов. Между прочим, там выступала и Орлова!

— Любочка?! Какая она смелая женщина! Комедии тридцатых, а Орлова шестидесятых! И как?

Впрочем, выглядит она отлично. И никто не скажет, сколько ей лет. Она вообще гениальна: когда выдавали паспорта в начале тех же тридцатых, никаких документов не требовали — можно было назвать любую дату рождения и любое имя тоже — тогда и появились самозваные Леониды Утесовы и Веры Малиновские, была такая писаная красавица, в кино снималась. Так Любочка не растерялась и сразу скостила себе десяток лет! Это я, идиотка, все колебалась: стоит ли? Потом подсчитала, что два года я все же провела на курортах, а курорты, как говорят, не в счет, так и появилась в моем паспорте новая дата рождения: вместо 1895-го 1897-й. И только! До сих пор не могу себе простить такого легкомыслия! А что Любочка вчера делала?

— Рассказывала о съемках «Волги-Волги», «Светлого пути».

— Дурацкая картина. Только Александров мог заставить свою жену работать на ста двадцати станках и бороться в кинокомедии с врагом народа — ловить кулака, поджигающего ткацкую фабрику! Спичкой! Зачем? Большего абсурда я в своей жизни не видела! А про «Цирк» она не говорила? Удивительный она все-таки человек. Другая бы на ее месте только об этом и трубила — «Подвиг актрисы. Так поступают советские люди!». А она молчит. И вы этого не знаете? Мне кажется, вы должны непременно включить этот эпизод в свои лекции.

В первоначальном варианте «Цирка» номера на пушке не было. Любочка делала на ней несколько батманов и арабесков на пуантах, конечно, — она же училась в школе у знаменитой Франчески Беаты, — а потом опускалась в жерло. Когда Григорий Васильевич начал монтировать картину, он почувствовал, что «Полет на луну» получается бледным, и договорился с Дунаевским и Галей Шаховской — это балетмейстер, чтобы они сделали для Любочки ударный номер с песенкой, чечеткой, джазом. А снимали «Цирк» на «Кодаке». Черно-белом, но «Кодаке» — за валюту! Своя пленка была полным говном: на ней можно было раз снять, а потом переснимать дважды — себе дороже обойдется! Гриша на «Цирке» свой лимит уже съел и

попросил Любочку перед съемкой:

— Любовь Петровна, пленки у нас только на один дубль. Сделайте так, чтобы мы за раз сняли.

Любочка репетировала раз двадцать — фонограмму (там Цфасман блистательно на рояле играет!) гоняли чуть ли не до дыр.

Наконец все готово. А для съемки соорудили новую пушку — коротышку в полметра, ровно столько, сколько входит в кадр, жерло закупорили толстым стеклом, по которому Любочка бьет чечетку, а для того чтобы оно светилось, снизу поставили диг — прожектор такой. И вот Александров командует: «Свет! Мотор! Фонограмма!». Любочка сбрасывает с себя накидку — «Але-ап!» и начинает петь. А пока она пела и каблучками стучала по стеклу, пушка от прожектора так раскалилась, что, когда Любочка села на нее, она оказалась как на горячей сковородке. И представьте себе, ни один мускул не дрогнул на ее лице! Она допела песню, а после съемки ее увезли в больницу с ожогом третьей степени! На две недели!

— Потрясающе! Но Любовь Петровна никогда не рассказывает ничего, кроме того, как она работала над ролью.

— И напрасно! Я, правда, не знаю, перед кем вы выступали, может быть, аудитория была не та? Но ведь эта история — не из разряда надоевших баек, как снимают пляж, когда идет снег?

— Конечно. Выступали мы в клубе Дорхимзавода, — сказал я, — на набережной за Киевским, почти у самого железнодорожного моста. Старый такой клуб, на втором этаже. И народу было — кот наплакал. Администраторша все извинялась — май, мол, пятница, люди все на дачи после работы торопятся. Как будто клуб не завода, а дачного треста.

— Хоть заплатили хорошо? — спросила Ф. Г.

— Смеетесь! Вот прочтите записочку — это Любовь Петровна написала нашей редакторше: «Дорогая Елена Ильинична! В прошлый раз мне заплатили за выступление 14 руб. 50 коп. Тогда как моя ставка, утвержденная Министерством культуры, — 27 руб. Прошу Вас произвести перерасчет и выплатить мне неполученное. Моя ставка предусматривает надбавку за мастерство и народность. С уважением Любовь Орлова».

— Боже мой, какой стыд, — всплеснула руками Ф. Г. — Народная СССР тащится на край Москвы в занюханный клуб, где еле собираются две с половиной калеки, чтобы получить жалкие гроши! Да еще униженно просит о доплате, когда ее откровенно надувают. Нет, Чехов — вечен. Только тут не хватило, чтобы из Любочкиной ставки вычли за пользование зеркалом, у которого она гримировалась, за туалет, за амортизацию рояля, на который

оперлась. Это ужасно! Вот почему я отказываюсь от всяких «творческих вечеров» и выступлений. У нас с актерами скоро будут расплачиваться чечевичной похлебкой!.. А Любочка, видно, опять без денег. Ее бездарь, Гришка, сколько лет ничего не делает, сидит на ее шее. И тоже народный. Нет, сил моих больше нет. Просто хочется взять автомат и стрелять всех подряд.

Через три-четыре дня Ф. Г. сказала:

— Я все думала об этой вашей лекции на заводе фановых труб и бедной Любочке. Вы нашли, что она и сегодня хорошо выглядит, но вы не представляете, какой она была. От нее глаз нельзя было отвести. Естественный румянец, нежная кожа, глаза такой голубизны, что, заглянув в них, проваливаешься в бездну. А фигура, ножки — сама гармония. И порода, порода во всем. По отцу Любочка из старинного дворянского рода Орловых, по матери — из графского рода Сухомлиных, родственного клану Толстых, и Лев Николаевич подарил Любочке в ее детстве своего «Кавказского пленника» с трогательным автографом. Ни о книжке этой, ни о своем происхождении Любочка, разумеется, никому не говорила: вы знаете, как поступала власть с дворянами, а ее родители, кажется, еще в тридцатые годы были живы.

Любовь Орлова

Я познакомилась с ней на «Мосфильме». Боже мой, когда же это было, если я снималась еще в немом кино! — Ф. Г. засмеялась. — А что, скажи вот так: «Я снималась еще в немом кино», и сразу подумают, что мне сто лет. Мы встретились ночью в коридоре студии — я в костюме госпожи Луазо из «Пышки», она — в платье Грушеньки из «Петербургской ночи». Потом я сходила на ее «Периколу» к Немировичу, она тоже посмотрела что-то мое, кажется, мою очередную проститутку из «Патетической сонаты» — на проституток в ту пору мне везло. И потом на той же студии, в этом жутком недостроенном сарае, который назывался гордо «Кинокомбинатом», обратилась ко мне с самой необычной просьбой. Представьте себе: повсюду строительный мусор, воняет известкой и сырой штукатуркой, вместо скамеек — штабеля свежеоструганных досок, одна ярчайшая лампочка под потолком, вся в подтеках побелки, и среди всего этого Любочка:

— Я умоляю вас, будьте моей феей!

— Кем-кем? — не поняла я.

— Моей доброй феей! — повторила она ангельским голосом.

— Ну, уж тогда скорее добрым феем, — не удержалась я от остроты. Но Любочка была очень серьезна:

— Фаиныш, клянусь, как вы скажете, так и будет. Сейчас решается моя судьба: мне предлагают большую роль в музыкальном фильме. Согласиться — значит бросить театр: на съемки уйдет не меньше года. Я жду вашего решения.

Я недолго думала:

— Сейчас вами любуются ваши близкие и зрители одного театра. Когда вы уйдете в кино, вами будут восхищаться все. Поверьте опыту моих театральных героинь. Я серьезно благословляю вас и не сомневаюсь в успехе.

А решать Любочке пришлось многое. Бросать театр, где она пользовалась покровительством Владимира Ивановича Немировича. Расставаться с человеком, с которым прожила не один год. Я была в их квартире — это номер «люкс» в «Национале», что снимал немецкий концессионер. Тогда я впервые увидела ее коллекцию хрусталя. Любочка собирала уникальные вазы, бокалы, ладьи, рога, предметы, назначение которых мне осталось неизвестным, сверкавшие, поверьте, загадочным светом: хозяйка умела все это по-особому расставить и осветить. И концессионер одобрял это увлечение и дарил Любе только хрустальные вещи. Она уже встретилась с Григорием Васильевичем, который стал к тому времени не Мормоненко, а Александровым, сотрудником Эйзенштейна, главой молодой семьи и отцом сына, названного в честь знаменитой кинозвезды Фэрбенкса Дугласом. И ему тоже пришлось заняться тем, с чем никогда прежде не имел дела, — музыкальной комедией.

Они любили друг друга. Поселились в маленькой комнате, куда Любочка вывезла весь свой хрусталь, и начали новую жизнь.

Я впервые снялась у них только после войны — в «Весне». Была безумно благодарна им, что они взяли меня на съемки, что шли в Праге, на «Баррандове» — бывшей немецкой студии, филиале УФА. Тогда ее хотели превратить в филиал «Мосфильма», оснащенный самой лучшей техникой и роскошными павильонами. В одном из них Любочка плясала свои «Журчат ручьи» на зеркальном полу, что остался еще от «Девушки моей мечты» и чечетки Марики Рекк.

Тогда я впервые попала за границу — повидала брата, с которым не виделась почти тридцать лет.

Между прочим, Любочка тогда тоже впервые была за рубежом, а все эти разговоры о ее многочисленных поездках в Америку для подтяжек, пересадок яичников — выдумки обывателей.

Орлова всю жизнь держала себя в форме. Ежедневно с утра — гимнастика, занятия у станка. В той же «Весне» она свободно стоит на пуантах! Я могла только завидовать ей.

А в Москве, где снова продолжались съемки в ледяных мосфильмовских павильонах, я нарисовала для Любочки «картину», изобразила себя Маргаритой Львовной, но в валенках, ушанке, дрожащую от холода, написала какую-то глупость, которую Любочка демонстрирует своим гостям, но подписалась с намеком — «Ваш Фей». Успех «Весна» имела необыкновенный!

Вообще образ жизни они ведут уединенный. Им никто не нужен. Удивительно, да? Даже сына Григория Васильевича, этого Дугласа, которого все зовут Васей, она отвадила от дома. Причина какая-то была: то ли Дуглас, когда никого не было, устроил там пьянку, то ли еще что-то. Да и гости у Любочки — редкое явление. И обычно не друзья (я не знаю, есть ли друзья у них?), а нужные люди. Знаете, из тех, что, когда хозяйка отлучится на кухню, переворачивают тарелки и, видя на днище царский герб или знак Кузнецова, тычут в эту геральдику пальцем и удовлетворенно цокают языком! Я сама видела — была раза два в их числе, — по-моему, в качестве аттракциона для пищеварения.

Но тут я недавно вспомнила ситуацию анекдотическую — схватку гигантов. И смешную, и грустную. Когда Любочка жила в доме на улице Немировича-Данченко, она всегда после ужина водила своих гостей к Сереже Образцову. Чай — его страсть, он привозит его из всех стран, где бывает, какие-то особые сорта: королевские, с жасмином, с травами, лепестками розы, с марихуаной. В общем, все самое изысканное и по особым рецептам и в особой посуде завариваемое. В первый раз он встретил гостей Орловой не без приязненности. Они пили, восхищались, хвалили, рассматривая заодно и механические игрушки Образцова. Во второй раз восторга стало меньше. А в третий Сережа уже сам привел к Любочке своих гостей:

— Дорогая, мои гости столько наслышаны о твоем хрустале, что хотели хоть глазком взглянуть на него, а заодно и чайку попить из твоего кузнецовского фарфора!

Говорят, на этом обмен гостями закончился навсегда.

Мне грустно говорить об этом, но Любочка очень изменилась. Человечески. Нет, они по-прежнему дружны. Она ему — «Гришенька», он ей — «Чарли» только в узком кругу. На людях — «Григорий Васильевич», «Любовь Петровна». И всегда неизменно на «вы». Но после «Встречи на Эльбе», где я играла эту американку из «Крокодила», мы все дальше отходим друг от друга. Да, на том фильме они очень плохо поступили с

Дунаевским, милейшим человеком, несмотря на его еврейский кобелизм. Отказали ему от совместного творчества, никак не объяснив это, — ни словом, ни звонком. И это после того, как они дуэтом трубили о своей любви к «лучшему композитору».

Но не это повлияло на меня. Наверное, прежде всего — их холодность. Я все чаше убеждаюсь, что Орлова стала типичной буржуазкой. С соответствующими интересами вокруг дачи, тряпья, косметики. И она, видно, чувствует мое отношение, хотя я теперь молчу как рыба.

В роли Маргариты Львовны в фильме «Весна»

Это после «Весны» я имела глупость высказаться: «Орлова — превосходная актриса, на съемочной площадке она — образец дисциплинированности и демократизма. Одно плохо — ее голос. Когда она поет, кажется, будто кто-то писает в пустой таз».

Григорий Васильевич еще позвонил мне, когда затеял этот свой шедевр — «Русский сувенир»:

— Фаиночка, для тебя есть чудная роль — сплошная эксцентрика. Ты сыграешь бабушку Любочки.

— Гриша, побойся Бога, — не удержалась я. — Мы же с Любочкой ровесницы! Ты подумал, сколько лет должно быть Любочкиной бабушке, доживи она до наших дней!

СОТАЯ «СЭВИДЖ»

«Сэвидж» прошла в сотый раз. Публика приветствовала артистов, на сцену вынесли огромную корзину от месткома и поставили ее у ног Ф. Г. «Бурные аплодисменты, переходящие в овацию», как писали раньше газеты о явлении Сталина народу, на этот раз сотрясли «Моссовет». Но одна Ф. Г. на сцену все-таки не вышла. Ее, держа под руку, сопровождал Бероев, — актеры его прозвали «фуфовозом»: с легкой руки Марецкой, обращавшейся всегда к Ф. Г. «Фуфа», — это имя распространилось в театре. Фуфа великолепная! А публика бушевала, и вызовам, казалось, не будет конца.

— Я думала, — призналась Ф. Г., - что свалюсь с ног от этого шквала.

Мы сидели у нее, ужинали и, уже остыв от спектакля, она с удовольствием пустилась в рассуждения:

— В этих аплодисментах и криках есть что-то от неистовства, чрезмерности, в которых мне всегда чудится фальшь. Тем более играла я сегодня не лучше, чем обычно. Только волновалась больше: видела, что актеры очень стараются, — в юбилейном зале друзья, знакомые, родственники и критики из газет и журналов, а потому и начинают «нажимать». Публика, прельщенная сотой афишей, охотно способствовала этому: смехом и аплодисментами встречала чуть ли не каждую фразу. И началась плохая эстрада — каждую реплику подавали, как на блюде, с паузами для реакции зала. Заметили, что спектакль шел на полчаса дольше?

— А как я? — спросила она. — Ничего не было чересчур? И, выслушав меня, продолжала:

— Никогда не забуду поход в театр, в который ломилась вся Москва. Актера, игравшего в этом спектакле главную роль, провозгласили явлением и всюду твердили о его невероятной эмоциональности. Я была оглушена ею, а зрители неистовствовали. Нашелся только один человек, не поддавшийся массовому безумию, — Павел Марков. В антракте он сказал мне мрачно:

— С таким темпераментом надо сидеть в сумасшедшем доме, а не выходить на сцену.

А я в тот вечер записала в своем дневнике: «Герой и героиня кричали так, будто их оперируют без анестезии!».

Вы плохо себе представляете, сколько опасностей в нашей профессии. Особенно, когда хоть на минуту думаешь не о роли, а о зрителе. Это страшная зависимость: актеру хочется зрителю понравиться — естественное желание, но если он для этого

нажмет на все педали, будет стараться во что бы то ни стало вызвать реакцию зала, — считайте, делу конец.

Ермолова — об этом рассказала мне Щепкина-Куперник — играла однажды вместе с молоденькой Яблочкиной. После спектакля она заметила:

— Саша залила слезами меня. От ее слез мой лиф был мокрым, а ни мне, ни публике не было ее жаль.

А ведь это об Александре Александровне, которую в наши дни называют славой театра.

Мы выпили по рюмочке за долголетие спектакля, и Ф. Г. вдруг рассмеялась:

— О Яблочкиной теперь почти столько же анекдотов, сколько о Чапаеве. Не выдуманных, а из ее жизни.

Рассказывают, что на предвыборном собрании — в 30-х годах Яблочкину выдвинули кандидатом в Верховный Совет, ее спросили:

— Скажите, а как будет при коммунизме?

— Хорошо будет, хорошо, — закивала она. — Наступит изобилие, в магазинах все будет, как при царе.

Московские афиши 60-х годов XX века

ГОСТИ ИЗ ПАРИЖА

— Нет, это случиться могло только со мной! Что делать мне, скажите?

Ф. Г. была не на шутку взволнованна. Она с остервенением листала журнал, как будто намеревалась вырвать из него каждую страницу. Не добившись успеха, бросила журнал в угол.

— Я просто теряю голову. Как же можно так поступать с уважаемыми людьми? Он — профессор, ездит читать лекции в крупнейшие столицы мира — Рим, Лондон, Стокгольм. Крупнейший специалист по античному искусству — с мировым именем, исключительный человек, ну, интеллигент от мизинца до кончика волос. Такая же его жена — я переписываюсь с ней. Она тоже живет в Париже, была подругой моей покойной сестры. И вот эта дама сообщает, что ее супруг получил приглашение в Москву и на днях они выезжают. Приглашение пришло от Пушкинского музея, с которым профессор имел длительную переписку…

И представьте себе, я, как будто почувствовав недоброе, решила позвонить в музей — узнать, как они собираются принимать чету.

— Мы ничего не знаем, — отвечают в музее. — Вы с ними переписываетесь, вот они, видно, к вам и едут.

— Но ведь было приглашение от вас! — пытаюсь вставить я.

— Никакого приглашения мы не посылали!

Как вам это нравится? Я говорю с директоршей, она поднимает всю переписку, проверяет документы в Министерстве культуры — ничего нет.

— Последнее письмо, — говорит директорша, — мы послали в апреле, там есть, правда, фраза: «Очень будем рады видеть вас с супругой у нас в музее, в Москве. Нам была бы очень полезна ваша консультация», — но никакой официальной бумаги мы не посылали.

— Позвольте, — взываю я. — Да как же получается? «Очень будем рады видеть вас у нас» — да разве по-другому интеллигентные люди зовут в гости?! Разве это не приглашение?

— Нет, это просто письмо. Приглашение посылается на бланке и с печатью! И конечно, после согласования с министерством.

Что я могла сказать? Старики со дня на день выедут в Москву — ему 79 лет, ей — немного меньше. Что они будут делать в незнакомом городе? Ну, она еще помнит русский и может объясниться, но где они найдут ночлег? Взять их к себе? Вы-то

видите, как я живу, — могу ли я принимать в этих двух комнатках профессора с женой, уложив их на одну тахту? А-а, да плевать на это, но ведь с двадцатого мая у меня десятидневные гастроли в Ленинграде, а вдруг они приедут именно в эти дни? Я не знаю, что делать, что делать?..

ПИСЬМА ИЗ ЛЕНИНГРАДА

Из Ленинграда я получил от Ф. Г. сразу два письма — в одном конверте: для меня и для Нины Станиславовны. В суматохе сборов Ф. Г. забыла записную книжку с адресами (как бы предчувствуя это, Ф. Г. повторяла, роясь в сумочке: «Я обязательно что-нибудь забуду!»). Свой адрес я написал ей уже в вагоне, перед отходом поезда. Теперь Ф. Г. просит меня переслать ее письмо в дом отдыха, где сейчас Нина Станиславовна. Постараюсь сделать это, хотя никак не пойму, почему Ф. Г. решила, что адрес дома отдыха мне известен?!

Письмо датировано 22 мая.

«Милый, милый Глебовицкий!

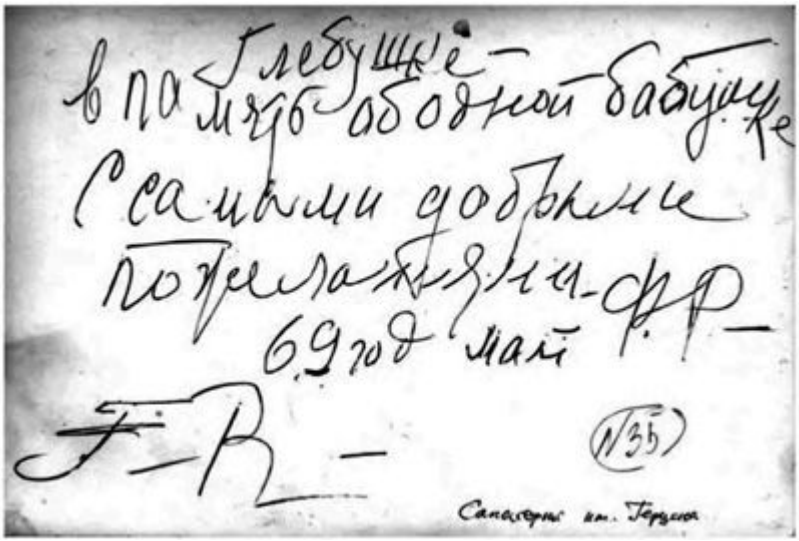
Из-за этой суки Лизаветы с ее хахелем я забыла телефонную книжку.

Я Вас так тепло вспоминаю, что Вам и не снилось такое!

Я написала 22-е, потому что ночь и фактически 22-е. Не спится. В этом городе со дня, когда его начали строить, люди мучились, здесь страдали, и никуда, кажется, это не ушло. Так я воспринимаю этот город.

Очевидно, начался туристский сезон. Очень много заросших, в патлах мальчиков и девочек, похожих на мальчиков, и старух с сумасшедшими глазами, наверное, наркоманок. Я с такой старухой поднималась в лифте и вылезла на другом этаже, где долго искала мой номер!

Ирина хвастала тем, что Бортникову после «Клоуна» молодежь сделала грандиозный прием, а она произносила речь, посвященную его творчеству. Очевидно, я ничего уже не понимаю, потому что не вижу в нем ничего восхитительного, а может быть, это оттого, что я видела Великих артистов».



Подпись Фаины Георгиевны на оборотной стороне фотографии для Глеба Скороходова

Письмо, адресованное Нине Станиславовне, как бы продолжает написанное мне. Вот несколько строк из него (с разрешения адресата):

«Пишу тебе на розовой бумажке, поглядывая на серое небо.

Утром, когда я ввалилась, маячило солнышко, к вечеру опять дождь, дождь, дождь. В этом дивном городе у меня всегда особая, неистовая «петербургская» тоска. Значит, и у вас дождь, и ты — бедняк отсырел.

Сегодня обедала с Л. Орловой и Ириной и чувствовала себя с ними ужасно одиноко. Любочка Орлова — на редкость буржуазка, а Ирина неконтактна. Она растворилась в славе Бортникова и ничего не видит.

Актеров не видела и не жажду их.

Завтра надо орать, то есть играть. Я отношусь к этому философски (зачеркнуто несколько слов. — Г. С.) — это я зачеркнула матерщину на философской основе. Кроме того, я играю два спектакля, а не 10, как было в прошлом году.

Дирекция, во главе со Школьниковым, проявила не сравнимое ни с чем внимание к моему диабету: в 9 часов появились одновременно 2 сестры, чтоб сделать один укол инсулина! А когда я легла отдохнуть после бессонной ночи в поезде, администратор звонил по телефону в номер каждый час, справляясь о моем самочувствии. Сначала я злилась, а потом хохотала, так это было забавно, что-то вроде чеховского «Смерть чиновника».

КОРОТКИЕ ИСТОРИИ

Вот несколько коротеньких историй, рассказанных Ф. Г., - историй, свидетелем которых она была, или случившихся с нею, или просто где-то услышанных, но запомнившихся надолго.

На Тверском Ф. Г. встретила знакомого.

— Фаина Георгиевна! — воскликнул он. — Вы чудесно выглядите!

— Я симулирую здоровье, — ответила она.

— Да что вы! У вас такой чудный румянец!

Но она не сдавалась:

— Оставьте, какой же это румянец? Это чудеса науки и техники — румянец из Парижа.

Обо мне — своим знакомым:

— Я его усыновила, а он меня уматерил.

Когда моя сестра решила переехать из Парижа в Москву — это было в пятидесятых годах, — я прислала ей письмо. Работник посольства, выдававший ей визу, рассказывал, что накануне отъезда сестра пришла к нему и отказалась от поездки.

— Почему? — спросили ее.

— Я не могу ехать, — ответила она. — Моя сестра в Москве сошла с ума. Смотрите, что она пишет: «Ни о чем не волнуйся, приезжай, площадь для тебя есть». Зачем мне площадь? Что я, памятник? Нет, она явно не в себе.

На улице, у театрального подъезда, после окончания спектакля. Муж, оборачиваясь к уныло плетущейся сзади жене:

— А все ты, блядь: «Пойдем в театр, пойдем в театр!»

— Вот лучшая рецензия! — добавляет Ф. Г.

Говорили о современных писателях.

— Они мне напоминают торговку «счастьем», которую я видела в Петербурге, — сказала Ф. Г. — Толстая баба стояла с попугаем, восседающим на жердочке над квадратиками бумажного счастья. Баба кричала: «На любой интересующий вопрос моя попка вам быстро дает желающий ответ».

В фильме «Деревья умирают стоя»

В ЦИРКЕ НА ЦВЕТНОМ

— Кстати, вы любите цирк? — спросила Ф. Г. неожиданно.

— Люблю, — ответил я.

— Но почему «кстати»?

— Я вспомнила, мы говорили с вами о «Девушке с гитарой» и я не сказала о единственном человеке, который оказался там на месте — Юрии Никулине. Его пиротехника запомнили все, а ведь это был дебют!

Он большой артист и вот о чем заставил меня думать. Фраза «каждый комик мечтает о Гамлете» давно стала общим местом, но смысла не утратила. Настоящие клоуны всегда со вторым планом, не обязательно смешным. Иногда он скрыт, иногда виден всем.

Я никогда не забуду Чаплина в финале «Огней большого города». Помните, он выходит из тюрьмы, оборванный, в кургузом пиджачке, и вдруг застывает: в витрине цветочного магазина — его любимая. Он помог ей вернуть зрение, но она его никогда не видела, и только протянув ему цветок, на ощупь, по руке, понимает, кто перед ней.

— Теперь вы видите? — спрашивает Чаплин, и в его глазах тысяча чувств: смущение — жизнь не сложилась, стеснение — он не такой, каким его представляла любимая, опасение прочесть разочарование на ее лице, страх потерять любовь и желание любить. И еще, и еще — вон сколько слов я уже наговорила, а у Чаплина все это вместилось в мгновение. И так он понятен, так его жаль и хочется обнять его и согреть, бесприютного, что сколько бы я ни смотрела эту сцену, слезы текут непрерывно.

Чаплин ставил комедии в высоком смысле. Как у Чехова. Пьесы, в которых один шаг до Гамлета. И Никулин в роли отца-самозванца — помните его глаза? — точно в чаплинской традиции.

Мы с Юрием Владимировичем говорили однажды о клоунах, и он вдруг признался, что его идеал — Чаплин и что в финале «Огней» он всегда плакал.

— Мы с вами одной группы крови, — не удержалась я.

И наше отношение к цирку тоже совпало. Вот только теперь я цирк люблю все больше на расстоянии. Поэтому и предлагаю сегодня же сходить на Цветной бульвар. Вы давно там были?

— Последний раз года три назад, — сказал я, — но попасть туда не просто: ежедневные аншлаги, теперь там и Кио. Билетов не достать.

— Это не ваша забота! — Ф. Г. решительно поднялась из кресла. — Я не была в цирке лет десять, но, в конце концов,

Никулин меня приглашал, Марк Соломонович Местечкин мне знаком, а он директор. Прорвемся как-нибудь! — Ф. Г. уже надевала шляпу и попросила: — Подайте даме труакар.

Меня рассмешило таинственное превращение обычного «демисезона», но Ф. Г. ничуть не смутилась:

— Вчера пальто, сегодня труакар, завтра манто. Обожаю разнообразие!

В цирке нас усадили в первый ряд.

— Могу предложить ложу дирекции, — сказал Местечкин, — но она высоковато. Туда мы друзей не сажаем — только официальных лиц.

Программа оказалась великолепной. Особенно блестяще работали четверо воздушных гимнасток. Я ничего подобного не видел: на сложной конструкции они выделывали такое, отчего замирало сердце. Никулин с Шуйдиным заставляли грохотать весь цирк. Над их антре с бревном мы смеялись до слез — Ф. Г. даже достала платочек.

Юрий Владимирович будто и не заметил ее, скользнул только взглядом, и все. Мне показалось, он специально отвлек внимание зрителей от Ф. Г. Выбрал на противоположной от нас стороне симпатичную девушку и застыл в изумлении. И потом при любом удобном случае расточал ей влюбленные взгляды, вздыхал, посылал воздушные поцелуи. Девушка смущенно улыбалась, а зал хохотал. Только однажды, уходя с арены, он подмигнул Ф. Г.

— Вот видите, — сказала она в антракте, — я буду тысячу раз повторять: искусство артиста цирка штучное. Мы волновались, глядя на этих чудесных девушек, работавших под самым куполом, а представьте, что их было бы не четверо, а два десятка. Исчезла бы магия неповторимости.

В детстве я видела жонглера, поразившего меня. В конце его выступления шпрехшталмейстер объявлял:

— Смертельный трюк — жонгляж с огнем. Одна ошибка, и ожог рук неминуем!

Гас свет, и под барабанную дробь жонглер подбрасывал в воздух три горящих булавы. Они летали и будто сами описывали огненные дуги и круги. Артист срывал бешеный аплодисмент!

Гришка Александров в своем «цирке» заставил жонглировать с факелами сто девушек — у нас, мол, это массовое явление. Спалил декорацию, но никто не аплодировал. А цирк должен восхищать и удивлять, и заставлять замирать от счастья. Ведь счастье — это когда твои желания совпадают с возможностями других. И очень грустно, если люди перестают удивляться…

Мы зашли в директорский кабинет — Ф. Г. там оставила для Никулина три розы. Цветы извлекли из вазы, и Местечкин

попросил нас следовать за ним.

Я думал, мы пойдем за кулисы через форганг, из которого выходили все артисты на арену, но, видно, в цирке свои негласные законы, и Марк Соломонович повел нас через фойе куда-то вглубь, за красный бархатный занавес.

Мы шли мимо клеток с собаками, поблекших аппаратов, что час назад сияли над манежем, разобранных турников и цветных кубов. И тут раздались аплодисменты. Артисты, уже разгримированные, и те, кто только что работал у Кио, аплодировали Ф. Г. А воздушная гимнастка вручила ей букет.

— Ну что вы, что вы! — застеснялась Ф. Г — Это я должна благодарить вас!

И тут же вручила гимнастке никулинские розы. Все улыбались, а Местечкин сказал гимнастке строго:

— Антонина, давай цветы обратно: они Юрию Владимировичу предназначены.

Откуда-то сбоку вышли Никулин, Шуйдин, Кио, другие артисты. Вынесли шампанское и тут же провозгласили тост за Раневскую. Опешившая Ф. Г. твердила:

— Я не понимаю, за что? За что, скажите!

— За ваш талант, за вашу любовь к цирку, за ваш юбилей! — провозгласил Никулин.

Юрий Никулин

— Спасибо, спасибо! — благодарила Ф. Г. — Но юбилей был в августе. И если совсем немолодой даме прибавился год, разве тут есть чем гордиться!

Обратно мы ехали не на такси, а на директорской машине.

— Все хорошо, — сказала Ф. Г., - но когда я наконец перестану кокетничать возрастом!..

Чуть не забыл: Никулин рассказал два анекдота.

— Один для вас, театральный, другой — наш, цирковой, — сказал он.

Записал их как запомнил.

«Разгневанный отец отчитывает дочку:

— Замуж за артиста?! И думать не позволю!

И все же пошел с ней в театр — посмотреть, кого она выбрала.

— Можешь выходить за него. Он вовсе не артист!».

«Подготовлен уникальный аттракцион — «Дрессированные черепахи». Черепах за валюту привезли с острова Гаити. Под звуки марша они делают два круга по арене, а потом становятся на задние лапы и в такт музыке кивают головами.

Выпустить этот аттракцион никак не могут: не выдерживает оркестр — номер с черепахами идет пять часов».

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В «КЕМЕРИ»

Перед самым отъездом в Ригу на гастроли Ф. Г. мне сказала:

— Ну, дело сделано. Нина втянула меня в гигантскую авантюру — получу тысячу семьсот рублей!

Хватит рассчитаться со всеми долгами и еще останется.

— Но что случилось?

— Не спрашивайте. Позор! Я ощущаю себя, ну, знаете, ну, как начинающая кокотка, от которой ждут блестящей карьеры.

— ?

— Я продалась ВТО — подписала договор на книгу.

— Вы решились?! Поздравляю!

— Не смейте этого делать! С чем поздравлять? Боже, как стыдно! Разве я когда-нибудь напишу двадцать листов! Это сколько страниц?

— Около пятисот на машинке.

— С ума сойти! Да я и двух страничек не могу из себя выжать. Кому это нужно? Повторяю вам, мой договор — грандиозная авантюра. Мне нужны деньги: скопились долги, нужно купить путевку в санаторий — подлечить руку (как я буду играть в Риге восемь спектаклей, ума не приложу!), путевка стоит минимум двести пятьдесят рублей. Откуда взять все это? Я и решила: ВТО дает аванс на два года. За это время я запишусь на радио, снимусь в кино — Алеша Бататов предложил мне сыграть Бабуленьку в «Игроке», — тогда я и верну аванс, все до копеечки.

— А может быть, лучше все же написать книгу?

— У-у! — замахнулась на меня Ф. Г. — Не заикайтесь даже!

Две июльские недели я мотался по кинотеатрам в поисках чего-либо стоящего на Московском международном фестивале, написал о своих впечатлениях Ф. Г. и получил ответ:

«Милый Глеб, спасибо за интересное письмо, читая которое, я почувствовала себя на неинтересном фестивале.

Глебушка, умоляю и мне достать Аввакума, если это будет возможно. При встрече обсудим этот исторический момент!

Мне досадно за Вас — проводить отпуск в душных кинозалах стоит ли даже ради шедевров космических? Не стоит.

Здесь дивный воздух, но моя проклятущая популярность заставляет меня торчать в номере гостиницы. На улице любители автографов отравили мне старость. Обнимаю. Приезжайте. Ваша Ф. Р.».

После окончания рижских гастролей Ф. Г. поехала в санаторий «Кемери», где мы, как и условились раньше, встретились.

Ф. Г. была в отличном настроении. Более всего ее тронули не «цветы, вино и фрукты», а две привезенные книги — «Изборник» и том с позднеримскими и греческими романами Татия, Лонга, Петрония и Апулея. «Изборник» вызвал особый восторг:

— Боже, и «Житие Аввакума» здесь есть! А его письма к Аввакумше? Вот фигура — действительно служитель веры! А какая сила воли! Помните, во время исповеди он почувствовал неодолимое влечение к исповедующейся женщине и держал свою руку над свечой до тех пор, пока не прожег ладонь, но страсть поборол! Вы знаете, что многие ученые считают Аввакума отцом Петра. Нашли, говорят, документы, что Нарышкина согрешила. Охотно верю в это. У Петра должен быть именно такой могучий отец.

За столом Ф. Г., боясь банальностей, предложила первый и единственный тост:

— За мое здоровье! День рождения у меня по новому стилю 27 августа — в юбилей кино — вот повезло! — а по-старому 14-го, — значит, сегодня! Отметим его по-старому!

Все выпили, и Ф. Г. замурлыкала какую-то мелодию.

— Узнаете? — Она улыбнулась. — Это из «Швейка». Там я свой день рождения отмечала. Какая я тогда была худая. Средняя Азия, эвакуация, есть нечего. Могла же я тогда выдумать для роли фразу: «Швейк, у тебя осталось полтетки!». Так оно и было!

А какой конфуз вышел с этим эпизодом, когда фильм показали за границей. Нам ведь часто не хватает образованности. В «Швейке» я играю старуху — ей лет семьдесят пять. Передо мной на столе стоял торт со свечами. Наши режиссеры слыхали, что на Западе в день рождения положен торт со свечами, но, сколько нужно свечек, не задумались. И когда фильм шел в Чехословакии, зрители неожиданно начали веселиться: тетка Швейка сошла с ума — ей за семьдесят, а судя по торту, где торчали одиннадцать свечек, она еще не достигла возраста конфирмации.

Фотопробы к фильму «Новые похождения Швейка»

Вино и разговор разгорячили Ф. Г. Она сидела на диване, удобно откинувшись на низкую, пологую спинку, розовая шерстяная кофточка была наброшена на плечи, как пелерина. Белые, без модных оттенков волосы аккуратно причесаны, глаза блестят, следят за малейшим изменением лица собеседника, готовые тотчас же прореагировать.

— Какая вы красивая, Фаина Георгиевна!

— Ну что вы! Как можно?! — кокетливо смутилась Ф. Г. — Это такое открытие, что теперь я поминутно буду смотреть на себя в зеркало, — может быть, действительно произошло чудо!

Всю жизнь я мучилась из-за своего гигантского носа, — продолжала она. — Боже, думала я, встречая на улицах

маленькие женские носики, как везет людям! Казалось, я все бы отдала, чтобы получить такой же. Однажды, когда я окончательно поняла, что избавиться от него мне не удастся, я с горечью и бесповоротно решила: ну что же, значит, мне никогда не суждено играть героинь. Можно ли вообразить Офелию с таким носом?!

Мой приятель из озерной компании, с которой я собирался совершить двухнедельное путешествие на лодках, пытался возразить, но Ф. Г. перебила его:

— Боже, как я вам завидую! Вы на воде можете быть месяцами! И никого не видеть и не слышать! Если бы вы знали, как мне порой хочется избавиться от окружения, любого. Особенно такого, какое в этом санатории! Горничная мне говорит:

— О, мадам, вы не знаете, какие гостьи у нас отдыхают! Они делают «а-а» в биде!

Мы рассмеялись, а приятель неожиданно попросил:

— Фаина Георгиевна, расскажите, как вы стали актрисой?

С лица Ф. Г. сразу сбежала улыбка.

— Я не стала. Есть три профессии — врач, педагог и актер, которыми нужно родиться. Я не могу точно сказать, когда я ощутила себя актрисой, но все мои детские воспоминания связаны с актерством, с попытками играть, изображать, перевоплощаться. Именно эти попытки доставляли мне удовольствие, даже наслаждение, а не какие-нибудь настольные игры или вышивание, которое я терпеть не могла.

Помню, с каким восторгом я изображала странниц, которых видела на кухне у нашей стряпухи. Туда нам, детям, ходить запрещалось, но я обожала сидеть за столом вместе со старухами, идущими в Афон на богомолье, слушать их рассказы и есть пирожки с картофелем, печенные в подсолнечном масле, — до сих пор помню их запах!

А потом, повязав темный платочек, я ходила, сгорбившись, по комнатам и просила всех родных спросить меня, куда я иду, — все для того, чтобы произнести единственную фразу моей первой роли:

— В Афон иду, матушка, в Афон — на богомолье!

Помню, меня хвалили и относились к моим странницам всерьез. Зато другая моя роль не вызвала у родных никакого энтузиазма.

Недалеко от нашего дома была закусочная — монополька, как ее называли, — там торговали водкой в розлив и на вынос — водочная торговля всегда была монополией государства. Я любила устроиться где-нибудь в стороне и наблюдать за посетителями монопольки. Я запоминала их фразы, интонации,

манеры, их песни и однажды, к ужасу родных, разлеглась под столом в гостиной и, выругавшись трехэтажным матом, который я, конечно, безбожно исказила, ибо не понимала его смысла, стала распевать песню, слышанную у монопольки. До конца допеть ее мне не удалось: мама, как человек решительный, надавала мне по губам, отец, помню, только долго говорил со мной.

Позже, опять же отец, которого я обожала, заметив восторг, охвативший меня на представлении бродячего кукольника, привез мне Петрушку, с которым я фантазировала спектакли, — это тоже была одна из моих первых ролей.

Роли окружали меня со всех сторон. Училась я отвратительно. Математику считала ненужной и бесполезной. Все эти купцы, купившие десять аршин сукна подешевле и продававшие затем почти каждый аршин подороже, вызывали у меня тоску и ненависть. Но когда я увидела, как работает наш управляющий, как он, надев очки, вписывает что-то в гроссбух и отстукивает на счетах, задачник вдруг ожил для меня. Раздобыв очки, я превращалась в управляющего, в купца, приказчика — я отсчитывала на счетах метраж купленного сукна, бормоча под нос, определяла расход и приход. Это было безумно интересно, потому что это была уже не я, и я понимала, что моего героя не могут не волновать все эти сукна, аршины, рубли и копейки…

В день рождения Ф. Г., 27 августа, из какого-то маленького литовского поселка я послал ей поздравительную телеграмму. В Москве меня уже ждала открытка, помеченная 27/VIII:

«Милый Глебун, меня так тронула Ваша добрая и торжественная телеграмма, что мне захотелось тут же Вас благодарить. Не нашла нормальной открытки, пишу на кретинах. (На открытке изображены двое латышей в национальных костюмах, танцующих что-то фольклорное, с улыбками идиотов.)

Ах, Глеб! Какой грустный день. Сегодня надо мной усердно упражнялся «трудящий» на баяне. Подбирал вальс «На сопках Маньчжурии».

Я надеюсь увидать Вас раньше, чем прибудут кретины. Рада буду увидеться, очень по Вас соскучилась. Привет Вашему семейству. Обнимаю. Ваша Ф. Р.».

Всю жизнь я страшно боюсь глупых. Особенно баб. Никогда не знаешь, как с ними разговаривать, не скатываясь на их уровень...

«СВАДЬБА» В ЛИХОВОМ ПЕРЕУЛКЕ

— Вы восхищаетесь «Свадьбой», потому что плохо знаете Чехова! — Ф. Г. была настроена воинственно. — И Анненский тоже не приводит меня в восторг. Ну, повезло человеку — в сорок третьем году в Москве актеров было пруд пруди, все голодные, обносившиеся, согласные на любую работу, по которой в эвакуации истосковались. Ну, смог Исидор собрать такую группу, которая никому и не снилась: Гарин, Яншин, Грибов, Блинников, Мартинсон, Коновалов, Зоя Федорова… Наверняка кого-то забыла! Но ведь, если разобраться, использовал он этих звезд не так чтобы очень, серединка на половинку. Таню Пельтцер вы заметили? А ведь в «Свадьбе» ее дебют! Скандальную жену доктора она играет. Доктор — Владиславский — вот забыла еще одного — его хоть можно разглядеть, а Таню сняли только на общем плане с верхним ракурсом. Попробуй разбери, кто это там истерику закатил? Ну, где здесь элементарная забота о дебютанте?!

И не начинайте опять твердить о моем режиссероненавистничестве. А как же иначе можно к ним относиться?

Анненский вообразил себя гением. А какой, собственно, у него постановочный опыт? Одна удачная короткометражка «Медведь» с Андровской и Жаровым. И все! Так нет, одной режиссуры теперь ему показалось мало! Он еще и за сценарий взялся! Большой знаток Чехова!

Обрадовался: вот пьеса «Свадьба», а вот рассказ о женитьбе. И там жених и папенька, и тут они в наличии. Прекрасно! Склеим, и будет полный метр! Нахально объединил два абсолютно разнородных произведения. Так можно было бы свести воедино гоголевскую Агафью Тихоновну и толстовскую Кити только потому, что обе невесты!

Анненского совершенно не волновало, что у Чехова жених из рассказа хочет вообще улизнуть от брака, а в пьесе он женится по любви. Папенька в рассказе — отец многочисленного семейства, которому Бог послал одних дочерей, оттого и сбыть с рук каждую из них — великое счастье. А в пьесе папенька выдает замуж дочь молодую, глупую, но привлекательную. В фильме все это соединилось, как холодная вода с маслом.

Ну, кто отгадает, отчего Гарин в начале картины выдает себя за беглого каторжника и сумасшедшего, лишь бы не идти под венец, а потом вдруг начинает ревновать свою невесту, устраивает сцены из-за телеграфиста Ятя, который вроде бы

ухаживает за его избранницей? И как же этого не заметить!

— Может, дело все-таки в актерах, — пытался я защитить фильм. — Они настолько великолепны, что следишь только за ними, и все остальное забываешь.

— Голубчик, а с Чеховым как же быть? — не унималась Ф. Г. — Он же не допускает фальши, у него все подлинно. Анненский же просто порхал, как стрекозел, по поверхности чеховской прозы, ничего не поняв.

Ну, если вы такой защитник его стряпни, скажите, где происходит эта самая свадьба? Правильно, в доме отца. Но он ведь не купец, не промышленник, а обычный мещанин. Откуда же тогда взялись на экране эти апартаменты с бельэтажем, эта танцевальная зала, этот будуар, где Верка (вот вам — еще Марецкую забыла!) поет голосом оперной Голембы романс с Мартинсоном?!

В жизни ничего подобного не было. И у Чехова тоже. Он описал совсем другой особняк, известный каждому жителю Таганрога.

В городе стоял импозантный дом, в котором никто не жил. Он только сдавался напрокат. На день-два — для свадеб, банкетов, семейных вечеров. Люди снимали его, заранее оговаривая дату, ставя хозяину свои условия, приглашая, если нужно, официантов, поваров, прислугу. Вещь, кстати, весьма удобная. И не очень накладная. Напрокат давали все — тарелки, бокалы, огромные, в полстола, вытянутые блюда под рыбу, салатницы с шестью отделениями, трехэтажные вазы и прочие диковинки, нужные, быть может, раз в жизни.

В детстве я часто бегала к этому особняку. С гувернанткой, разумеется. Вместе с другими мы наблюдали длинную и увлекательную процессию: торжественное прибытие молодых, их встречу у порога, съезд гостей, свадебное шествие, слезы подруг и родных. Как все было интересно! И сегодня, уверяю вас, мало кому знакомо! Почему режиссер не воспользовался этим — ума не приложу!

Я знаю, пушкинисты спорят, совместимы ли гений и злодейство, но то, что гений и самодовольство никогда рядом существовать не могут, это точно. Анненский упивался любовью к себе. Она стала главным событием его жизни.

Вы хвалите мою «маменьку» или «маман», как ее зовет с французским прононсом Гарин, — очень смешно он делает это, правда? Хорошо, не буду спорить, но она могла бы быть лучше, помоги мне режиссер хоть чем-нибудь.

— Фаина Георгиевна, — говорил он мне, — вы пойдете налево, считая тарелки, а как дойдете до графина, это конец

кадра, повернете направо.

— А Эраст что? — спрашиваю.

— Эраст Павлович пойдет за вами.

— Что ж, это мы и так будем вдвоем болтаться, как говно в проруби? Пусть уж лучше он идет мне навстречу, я хоть тогда двинусь назад, чтобы отвязаться от него, зануды! — предлагаю.

— Можно и так, — соглашается Исидор Маркович. — Можно.

У него все было можно. Грибов с Осипом (Абдуловым) несли немыслимую отсебятину, уцепившись за чеховское «В Греции все есть». Я чуть со стыда не сгорела! Дописывать за Чехова!

Я вообще считаю, что Чехов настолько велик, что хвалить его не просто банально, а уже давно неприлично. А когда произносят благоглупости, вроде «его герои как живые», мне хочется бежать и бежать, не останавливаясь.

Но, между прочим, свою «маменьку» я действительно не раз видела «живой». В Таганроге, конечно. И не только в нем. Похожести гримом тут не добьешься. Я ведь напяливала платье, подтягивала кверху нос, надевала парик и шляпку и выходила на съемочную площадку, почти не гримируясь. Все дело тут в манере говорить, слушать, думать. Ходить и жестикулировать — это уже потом.

Анненский ничего подсказать не мог. У него в павильоне, в Лиховом переулке, царил постоянный бардак.

— При чем здесь Лихов? — удивился я. — «Свадьбу» ведь снимала Тбилисская киностудия?

— Неужели имеет значение, чья марка стоит в титрах?! — Ф. Г. недоуменно пожала плечами.

Кадр из фильма «Свадьба». Раневская в роли Настасьи Тимофеевны Жигаловой, матери невесты

— Но ведь там есть эпизод, когда вы, рыдая «Три года перину собирала!», идете по деревенской улице, — я думал, это — окраина Тбилиси.

— Большая деревня, как известно, одна — это Москва. Всю натуру мы снимали вблизи вашей родной Даниловской площади. По Мытной шли троллейбусы, трамваи визжали на кольце, а рядом брела я с гостями мимо деревянных домиков в один-два этажа.

А вот всю свадьбу мы действительно сняли в единственном павильоне студии в Лиховом переулке.

Тоже вам скажу: и в местечке этом, и в зданьице есть что-то нехорошее. Когда-то переулок назывался Дурным, в нем находилось епархиальное училище. Странно, не правда ли? После революции училище захватили анархисты. В ликовании они переулок нарекли Лиховым. Когда совдепия прикончила их, здание отдали «Межрабиомфильму». И опять недобрая рука вступила в действие: вдруг, без видимых причин, цветущую студию, делавшую лучшие в стране фильмы, закрыли!

Во время наших съемок хозяевами здания стали уже документалисты. По-моему, они, как и анархисты, захватили его самовольно: Москва тогда стояла пустой. Днем они гнали хронику, делали один за другим киножурналы, а мы работали только ночью. Ночь за ночью, не останавливаясь, беспрерывно. Очень торопились: картину приказали сдать к 40-летию со дня

смерти Антона Павловича. У нас же и из годовщины смерти могут сделать праздник!

Сколько пришлось тогда натерпеться! Прохудилась крыша — я гримировалась под зонтиком, холод, костюмерной нет, машины не дождешься. В пять утра мы с Веркой, не раздеваясь, топали по пустым московским улицам в длиннополых платьях.

— Фуфа, — просила она, — меньше шаг — я валюсь от усталости!

Случайные прохожие в ужасе шарахались от нас, а мы упорно шли — она до Триумфальной, я — до Кудринской, как две сумасшедшие, сбежавшие из прошлого века. И для чего все эти мучения?!

— А «Свадьбу» я до сих пор смотрю и буду смотреть с удовольствием! — сказал я.

— Ну, это уже факт вашей биографии, — возразила Ф. Г. — Дело вкуса. Кто, как говорится, любит попа, а кто и попадью.

ЛИСТКИ ИЗ ДНЕВНИКА

Дома я перечитал дневниковые записи Ф. Г., которые могли бы быть книгой, но, очевидно, никогда не будут ею.

«Свадьба» — Голгофа Раневской. И сколько бы я ни рассказывала о том, как проходят съемки, если бы даже вздумала записывать в деталях, мельчайших подробностях «творческий процесс» создания этого фильма, мне не удалось бы сказать и тысячной доли правды — так это непостижимо и неописуемо. И моя боязнь оттого, что в других условиях сыграла бы неплохо и даже хорошо.

25 мая 1944 г.

«Старость отвратительна своей банальностью. Старухи часто глупы и ехидны. Не дай мне Бог дожить до подлой старости, которая окончательно теряет юмор».

Июнь, 15, 1944 г.

«Из ночи в ночь не сплю. Есть от чего сойти с ума».

«Помню пышные похороны богатых сограждан, когда днем горели газовые фонари катафалка. И помню ужас, охвативший меня при виде разукрашенных покойников».

«Художник без самоотдачи для меня — нуль. Да это и не художник, а так — продажная блядь на зарплате».

Июль, 1968 г.

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ

Однажды я прочел несколько записей подряд и подумал: а не получается ли, будто я прихожу к Раневской, и она тут же рассказывает мне несколько эпизодов для будущей книги?

Но это было не совсем так. Вернее, совсем не так.

А что, если попытаться, подумал я, записать события одного дня, проведенного с Ф. Г., его хронологию, не вдаваясь в объяснения, ассоциации, изложение фактов предшествующих и т. д. Ведь и без этого, по-моему, каждый день Раневской — совсем не ординарный.

Я выбрал четверг, 19 марта 1970 года. Но мог бы быть и любой другой день.

С утра у меня была запись, я освободился в начале первого и тут же позвонил Ф. Г.

— Когда ко мне ехать? — переспросила она. — Немедленно!

Едва я переступил порог, Ф. Г. сделала большие глаза и поднесла палец ко рту:

— Тсс! Вы приехали на самое интересное: сейчас у меня будут директор театра и его заместитель. Они уже в пути. Сказали, что имеют ко мне деловой разговор и предложение!

Как вы думаете, какое? Уж не решили же эти два кита отправить меня на покой? — Она усмехнулась: — Не дамся, и вы поддержите!

Директор «Моссовета», как не раз говорила Ф. Г., Лев Федорович Лосев — единственное за всю актерскую ее карьеру административное лицо, которое Ф. Г. сначала уважала, а потом и полюбила. И называла Льва Федоровича не иначе как «любимый директор», часто вкладывая в этот титул (по обыкновению) изрядную иронию.

Москва 70-х годов XX века

Она могла, например, сообщить:

— Вчера любимый директор сделал мне изуверское предложение: просил на гастролях сыграть за месяц десять спектаклей! При этом был так ласков и любезен, что я, старая шлюха, не смогла отказать ему.

— Завадский выкинул меня из «Шторма» — «любимый» сразу смекнул, чем это грозит кассе, и кинулся его умолять отменить решение. Но я не помню случая, чтобы кому-нибудь удалось оказаться сверху Завадского!

Лосев приехал со своим заместителем Школьниковым (в отличие от директора — нелюбимым и в быту именуемым Ф. Г. «Шкодниковым»), Широко улыбаясь, он протянул Ф. Г. коробку.

— Боже, что это?! — хлопнула она в ладоши. — Торт? Голубчик, вы же знаете, я — диабетик, мне нельзя. Он, — жест в мою сторону, — не съест. Зачем же мне ломать голову, кто сделает это?

Директор, снимая пальто, смеялся:

— Никаких волнений! Посмотрите на этикетку — это торт специально для вас, он на ксилите.

— Не может быть! — изумилась Ф. Г. — И крем тоже? Тогда скорей, скорей к столу! Я уничтожу его, стану вдвое толще, и вам придется увеличить мне зарплату — платить за двух Раневских сразу!

Директор с замом приехали выяснить, когда Ф. Г. собирается выйти на сцену (после больницы).

— А то нам придется искать на «Сэвидж» дублершу! — пошутил Лосев.

— Я не хочу дублерш, — запротестовала Ф. Г. — Когда я знаю, что есть дублерша, у меня возникает чувство, будто спектакль — дорогой мне мужчина, с которым спит другая.

Лев Федорович со Школьниковым не засиделись: откушав чаю и выяснив, когда Ф. Г. сможет играть «Сэвидж», они отбыли, пообещав сообщить позже точные даты спектакля.

— Не позже, а сегодня же! Это очень важно для меня, прошу вас понять это, — напутствовала их Ф. Г. И, едва захлопнулась за ними дверь, сказала мне: — Если они заговорили о дублерше, то, может быть, я им больше не нужна и следует искать другой театр? Я ведь всегда старалась уйти на пять минут раньше, чем меня бросали.

И тут же, без остановки:

— Что мы теряем время?! Мы же решили ехать гулять. Я умру без свежего воздуха.

— В центр, к Большому театру, — попросила она таксиста. — Эти проклятые новые деньги, — говорила она, расплачиваясь. — «Ничего не изменится, цены остаются те же», — трубили газеты и радио. Как бы не так! Раньше дашь в такси на чай три рубля и чувствуешь себя миллионершей. Попробуй теперь сунуть водителю тридцать копеек! Со стыда сгоришь под его взглядом!

Мы вышли в садик у памятника Марксу.

— Знаете, как я зову это чудище? — спросила Ф. Г. — Маркс, вылезающий из холодильника. Да, это уже пошло по городу. Как и мое о Новом Арбате — «Вставная челюсть Москвы». Можно гордиться — выхожу на уровень народного творчества. Вот только обидно, когда тянут у меня беззастенчиво писатели и сценаристы. Тут уж плагиат оплаченный!..

Перейдя площадь, мы поднимались по Пушкинской вверх.

— Заглянем на минуту к мадам Абдуловой, — попросила Ф. Г., - я ей давно обещала. Вы ее знаете — видели у меня. Это вдова Осипа. Как она танцевала с ним фрейлахс! Не на свадьбе, а на эстраде! Это у них был коронный номер. Лиза надевала национальный костюм, повязывала голову платком, и башмаки у нее были такие грубые на толстой подошве. Но главное в другом: она плясала с каменным лицом, никаких эмоций, несмотря на все заигрывания Осипа, впрочем, тоже сдержанные, но очень выразительные. Я смотрела на них и ухала от смеха, как филин: «Ух-ух-ух!». Невыносимо было смешно.

Елизавета Моисеевна радостно встретила нас, показала свою только что отремонтированную квартиру и альбом «Французская салонная живопись XIX века».

— Какая прелесть! — сказала Ф. Г. — И это у нас считалось фривольным. Ах-ах, из-под юбки видна резинка с красным

бантиком!

— Фаина Георгиевна, хотите новый анекдот? — вошел Сева, сын Абдуловых. — Англичанин плывет по Темзе. Навстречу ему другой: «Сэр, я доплыву до Вестминстера?» — «Конечно». — «Благодарю вас, а простите, куда плывете вы?» — «Я не плыву, я тону».

Все засмеялись, но громче всех Елизавета Моисеевна:

— Очаровательно, не правда ли? Все-таки не зря говорят о тонкости англичан! Куда же вы, Фаина Григорьевна? А я хотела вам предложить чаю! Я понимаю: прогулка, но раз вы уж зашли…

— Очень мне нужен ее чай, — проворчала Ф. Г. на улице. — Предложила, когда я уже взялась за дверную ручку!

Она взглянула вверх, на огромный серый дом, из которого мы вышли:

— Чудище! Крепость, бастион! А двери — только решетки с зубцами, такой, что спускалась сверху, не хватает! И смотрите, сколько уже памятных досок! Вон — Немировичу. Здесь и его квартира, ставшая музеем. Непонятно, от кого они всех охраняли. Тут же жили и живут сейчас артисты. И Любочка, и Сережа Образцов. Противно! Но мне кажется, в этом есть какой-то смысл. Не в том, чтобы оградить артистов от зрителей. А в том, чтобы собрать их всех в одном месте. Представляете, как удобно наблюдать за каждым, подслушивать их разговоры, выявлять «контру». Эту громадину соорудили в середине тридцатых, а в двадцатые годы все было по-другому, вы это знаете.

Я знал, хоть и в университете на все двадцатые отводилась одна обзорная лекция, но «Серапионовы братья», «Обэриуты» с Хармсом, Тынянов с «Кюхлей» и «Смертью Вазир-Мухтара» пользовались особой, почти всеобщей популярностью. Я сказал об этом.

— Вот видите, — подхватила Ф. Г., - вы на них накидывались, хоть они и были «попутчиками», а не пролетарскими писателями! Я могу вам, как живой «обломок империи», точно сказать: никто этими «пролетарскими» в двадцатые годы не интересовался. И вот какая крамольная мысль пришла мне однажды в голову: партийные руководители вовсе не разгоняли этот Пролеткульт, РАПП и прочие уродства — они им не мешали. Им надо было взять в свои руки все эти неподвластные им группки и направления.

— Но ведь уже в начале двадцатых ввели строжайшую цензуру — она могла все контролировать, — возразил я.

— Контролировать — не руководить! Им нужно было другое — поместить каждого под неусыпное око. Вот поэтому они и загнали писателей в одно стойло, которое назвали «Союзом». А

потом та же участь постигла и музыкантов, и живописцев, и артистов. «Умница, — сказала мне Анна Андреевна, когда я поделилась с нею своей догадкой. — Только умоляю тебя: никому не сообщай об этом!».

В роли Прасковьи Алексеевны из спектакля «Мракобесы»

Последнюю фразу Ф. Г. произнесла шепотом, стрельнула глазами влево-вправо и тихо попросила:

— Взгляните, нас никто не преследует?..

Мы зашли в стол заказов Елисеевского.

— Смотрите, виски «Длинный Джо»! Настоящий! Берем немедленно! Если бы я могла его еще и выпить!

У парфюмерной витрины магазина ВТО Ф. Г. остановилась:

— «Советское — значит, отличное»! Если бы вы видели магазины «Коти» или «Шанели»! Впрочем, сейчас я заставлю вас

раскошелиться, если мне моих не хватит…

Она сделала широкий шаг к дверям магазина. И застыла.

— Скорее ко мне! — прошептала она, судорожно удерживая что-то в кармане пальто. — Это катастрофа! Лопнула резинка в теплых трусах. Вы представляете, какая сейчас соберется толпа, когда увидят меня стреноженной фиолетовыми панталонами! Скорее такси!

— Но стоянка за углом!

— Я не могу ступить с места! — взмолилась Ф. Г. — Уговорите подъехать сюда, иначе вам придется нести меня на руках и это приведет еще к одной катастрофе!..

После обеда я читал сценарий «Корона Российской империи», в котором режиссер Эдмонд Кеосаян предлагал Ф. Г. сыграть роль тети Сони. «В миниатюре, — написал режиссер в сопроводиповке, — это роль, аналогичная Вашей героине в «Мечте».

— Нахал, — сказала Ф. Г. — Ничего подобного! Если это и миниатюра, то такова, что ее не разглядеть под самым сильным микроскопом!.. Вообще я на вас удивляюсь: читаете лекции о кино, а в кино ходите редко.

— Пойти сейчас? — спросил я.

— Не хамите! Лучше расскажите, что там во ВГИКе вам показывают?

Я рассказал, как на последнем занятии с режиссерами удивился, что их оказалось так мало — из группы в пятнадцать человек в аудитории сидело пятеро.

— А где ж остальные? — спросил я.

— Не волнуйтесь, Глеб Анатольевич, они сейчас подойдут — опаздывают, наверное. У нас на первой паре сегодня просмотр по «Истории кино», немой период. Показывали какую-то муть — «Кабинет доктора Калигари», так никого и не было.

— Не может быть! — не поверила Ф. Г. — Но вы хоть им…

— Да, я хоть… Но сколько ни объясняй — не поможет. Это уже другое поколение, и интересует их другое и смотрят они не то, что смотрел и смотрю я.

— Вот, кстати, вы не видели картину Роома «Цветы запоздалые»? — спросила Ф. Г. — На коленях буду вас просить — посмотрите!

— Вместе с вами?

— Я уже. Оттого и прошу вас. Я чуть со стула не упала, когда Ирина Шаляпина, изображая сваху и придя в дом за товаром — «У вас товар — у меня купец!» — вдруг начинает петь! Романс. И как! И зачем?! Напомнить, что у нее знаменитая фамилия? Это непередаваемо! Как, впрочем, и вся манерность фильма тоже.

Ф. Г. взяла со столика томик Чехова:

— Я после этого кошмара кинулась к полке, нашла «Цветы», прочла их, не поленилась. Это же необработанный Антоном Павловичем рассказ — он даже в Собрание сочинений его не включил. Эта сегодняшняя тяга к полуфабрикатам, пусть они и принадлежат великим, согласитесь, ненормальна!..

Нина Станиславовна перебила разговор.

— Я на минутку! — сообщила она еще в дверях.

— Но я надеюсь, ты откушаешь с нами чаю? — спросила Ф. Г.

— Конечно, Фаиныш, — она впопыхах расчесывалась, — откушаю, но тороплюсь ужасно: мне еще в театр обернуться надо.

— Ниночка — чудесная, добряк, — сказала Ф. Г., когда через полчаса за Ниной Станиславовной захлопнулась дверь. — Но зачем она приходила — вы поняли? Я — нет.

И настали лучшие минуты дня. Ф. Г. взяла чеховский томик:

— «Письмо к ученому соседу» Антон Павлович тоже не включил в Собрание сочинений. Но, по-моему, это — чудо. Хотите прочту?

Я обожаю эту манеру чтения Ф. Г. - вроде бы для себя, нигде никакого нажима, ничто не педалируется, и все вполголоса. Ф. Г. тут и исполнитель, и слушатель одновременно, хохочет вместе со мной, будто все это слышит впервые, иногда повторит удачную фразу — «А, как сказано?». И в заключение:

— Жаль, рассказ мужской — вот записать бы его на радио!

Я стал собираться.

— Погодите! — попросила Ф. Г. — Не оставляйте меня! Я умру от тоски и волнения. Давайте дождемся звонка Льва Федоровича. Любимый директор — человек обязательный, раз сказал, что позвонит, значит, позвонит непременно! Я даже думаю, он звонил, когда я боролась с панталонами на улице Горького.

Звонок — так не бывает — раздался тут же.

— Что с дублершей? — сразу спросила Ф. Г.

— С дублершей? — удивился директор. — Фаина Георгиевна, это была шутка! Извините, если неудачная.

— Да уж, с человеком, пережившим инфаркт, шутки плохи, — вздохнула Ф. Г. — А на какое число вы назначили первый спектакль?

— На четырнадцатое мая. И сегодня же отправили в типографию афишу.

— Ну а если я смогу сыграть раньше?

— Пожалуйста, в любой день после двадцать второго апреля — надо только переждать ленинскую декаду: во время нее играть зарубежный репертуар запрещено.

— А репетиции? Я же не смогу выйти на сцену сырая!

— И репетиции, конечно! Хоть завтра! Как только вы будете в состоянии начать их…

— Ну, слава богу, — сказала Ф. Г., кладя трубку. — Кажется, на этот раз в театре я остаюсь.

В спектакле «Сомов и другие». 1950 г.

ТАКОЙ РАЗНЫЙ ПУШКИН

— Вы так долго не появлялись, и я изменила вам! — с горестной улыбкой сообщила Ф. Г. — За деньги. Не за три рубля, но все же за мизерную сумму. Снимали меня для телевидения, дома. Интервью.

Первый вопрос:

— Вы любите современную литературу?

— Обожаю. Без нее не могу прожить ни дня ни ночи.

— Можете сказать, кто ваш любимый современный поэт? — допытывается интервьюерша.

— Пушкин, — говорю я тихо: о любви же нельзя кричать.

— Кто? Кто?

— Александр Сергеевич Пушкин. — повторяю. — Могу признаться — сплю с Пушкиным. Читаю его ежедневно допоздна. Приму снотворное и снова читаю. Мне даже приснилось недавно: он входит в мою квартиру, я кидаюсь к нему в экстазе: «Александр Сергеевич, дорогой, это вы?». А он: «Как ты мне надоела, старая дура!».

Уверена, это вырежут и в эфир не дадут. Да что вообще можно в вашем эфире! Дистиллированный Пушкин?

Когда интервьюерша стала выяснять, какой пушкинский стих у меня самый любимый, я расхулиганилась и хотела сказать «Эпиграмма на князя Дундука!».

Вы наверняка не знаете, кто это. Был такой красавец писаный. Стати отменные. Фигура — треугольная. Черные брови, бакенбарды и розовые щечки — кровь с молоком. К мужикам лип — направо, налево. Пушкин написал о нем:

В Академии наук
Заседает князь Дундук.
Говорят, не подобает
Дундуку такая честь.
Почему ж он заседает?
Потому, что жопа есть.

Ну, это ведь вырезали бы сразу: жопа у нас всегда под запретом!

Пушкина, которого я люблю, поэта разного — и доброго, и рассерженного, и саркастичного, и страдающего, и хулиганистого, одним словом Пушкина-человека на вашем телевидении не признают.

А во сне я вижу Александра Сергеевича все чаще. Когда это случилось в первый раз, я, как только проснулась, позвонила Анне Андреевне:

— Видела во сне Пушкина.

Она тут же:

— Еду!

И примчалась ко мне ни свет ни заря.

В ОБЩЕСТВЕ

— Меня пригласила на свой день рождения Светлана, жена Майорова, ну, вы знаете: они живут надо мной, — рассказывала Ф. Г. — Публика — вроде бы все знают друг друга, а встречаются редко: Бондарчук, Ларионова с Рыбниковым, конечно, чета Котовых, ну и так далее. И разговор не клеится. А стол! Ломится от закусок — одних салатов Светлана наготовила больше десятка. Пока рассказывала, с чем каждый из них, и гости наполняли свои тарелки, скованность не чувствовалась. А сказать первый тост никто не решается — за столом молчание.

— Друзья, предлагаю наполнить рюмки! — попросил хозяин.

Я налила себе боржому. И тут Бондарчук — он сидел напротив — посмотрел тяжелым взглядом на мой боржом и сказал сурово:

— Это не по правилам. За хозяйку хорошие люди воду не пьют.

Все принялись уговаривать меня, только Светлана нашла все-таки силы сообщить, что я не пью.

— Но одну рюмочку можно?! — предложил Рыбников. Чтобы попробовать скорее гусиной печенки, я не стала спорить и тут же осушила рюмку коньяку «за здоровье новорожденной».

Вы, надеюсь, знаете, как спиртное действует на непьющих? Так же, как на закоренелых пьяниц: от одной рюмки и те и другие мгновенно пьянеют. Г олова моя закружилась, и я решила внести свежую струю в чуть тлеющий разговор.

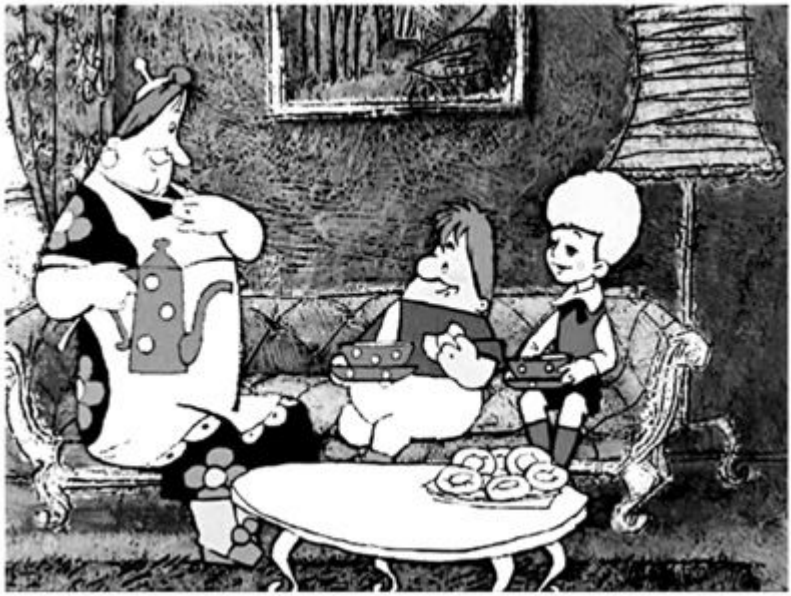
— Между прочим, — сказала я, — когда устроили первый всесоюзный смотр художественной самодеятельности, заключительный концерт транслировали прямо из Большого театра. Я прильнула к приемнику, и вот эта диктор — с гнусавым голосом, она все только в нос говорит — объявляет: «Механизатор колхоза «Красный луч» Петр Морковкин. Соло на жалейке!»

Интересно, думаю, никогда жалейку не слышала. И насторожилась. Тишина. Потом странные звуки: «Ф-ф-у! Пф-пф-пф-пфу-у. Ух, ёб твою мать!».

И все, тишина. Только диктор вдруг:

— Окончилась трансляция концерта из Большого театра Союза ССР.

Представьте себе, мой рассказ вызвал необычайное оживление общества. Истории посыпались одна за другой, без остановок — никогда не думала, что мат занимает столь значительное место в жизни интеллигенции.



«Карлсон вернулся» — фрекен Бок. 1970 г.

КОНЦЕРТ В ТАШКЕНТЕ

Валентина Ходасевич, всю жизнь связанная с театром, опубликовала в «Новом мире» воспоминания. Между прочим, она пишет:

«Летом 1942 года в Ташкенте «Республиканская комиссия помощи эвакуированным детям» устроила в помещении Театра оперы и балета концерт. Толстой написал для этого вечера очень смешной политический одноактный скетч. Основные роли в нем играли: Раневская, Михоэлс, Абдулов и сам А. Н. Толстой. Концерт прошел с огромным художественным и материальным успехом».

Я прочел этот абзац Ф. Г. и спросил, что там было, — ведь Ходасевич ограничилась только констатацией факта.

— Было очень, очень смешно, — сказала Ф. Г. — Алексей Николаевич отлично знал быт киностудий — во время съемок его «Петра» он не вылезал из «Ленфильма». Скетч, что он написал тогда, — пародия на киносъемку. Действие разворачивалось в павильоне, где якобы снимали фильм из зарубежной жизни. Скетч, по-моему, так и назывался — «Где-то в Берлине».

На бутафорскую крышу большого дома (самого дома, как и водится в кино, никто не строил) выходила Таня Окуневская, тоскующая героиня фильма, — красивая, глаз не отвести! Ходасевич почему-то о ней забыла. Вспыхивали прожектора, режиссер — Осип Абдулов — кричал магическое:

— Мотор!

Хлопала эта безумная хлопушка — ненавижу ее всеми фибрами души! — и Таня пела, как ни странно, на мотив «Тучи над городом стали»:

Вышла луна из-за тучки.
Жду я свиданья с тобой!..

И еще там подобную чепуху.

В это время появлялся Гитлер — Сережа Мартинсон, — он шел на свидание с Окуневской. Завидев его, двое рабочих студии — плотники в комбинезонах — их гениально изображали Соломон Михайлович Михоэлс и сам Толстой, изображали без единой репетиции, на сплошной импровизации — угрожающе двигались на него, сжав кулаки и молотки.

Гитлер-Мартинсон в страхе пускался наутек, режиссер хватался за голову, орал:

— Стоп!

Съемка останавливалась, но стоило появиться Мартинсону, все начиналось сначала.

— Ребята, — чуть не плача, просил Абдулов Михоэлса и Толстого, — это не настоящий! Это артист, он зарплату получает нашими советскими рублями, и у него карточка на хлеб и на крупу есть!

Начиналась съемка, снова пела Окуневская:

Вышла луна из-за тучки…

Публика уже не могла слушать ее — покатывалась от смеха. И снова на съемочную площадку пробирался Гитлер-Мартинсон, ища уже обходные пути, но плотники, удивительно точно повторяя движения друг друга, как заведенные устремлялись к нему, не в силах сдержать гнев. Режиссер впадал в истерику, в сотый раз пытаясь объяснить, что Гитлер ненастоящий, прибегая уже к самым абсурдным аргументам: «Его только вчера исключили из комсомола!». Но после команды «Мотор» все начиналось снова. Хохот в зале стоял гомерический.

— А что же делали вы? — спросил я.

— Импровизировала, как и все. Алексей Николаевич только написал схему действия, предоставив актерам полную свободу. Он сам упивался этой свободой и играл своего плотника с упоением и восторгом. Я была костюмершей — после каждого неудачного дубля шла к Окуневской подправлять костюм. Большая, в нелепой одежде «всех эпох и народов», с авоськой, в которой лежали зеленый лук и галоши, я выходила на крышу и требовала:

— Повернитесь!

— Боже, вы меня уводите! — капризно говорила Танечка. — Я вырастила зерно, а вы меня уводите.

— Никуда я тебя, милая, не увожу. Стой на месте. Очень мне надо. Я вон отовариться не успела, мне еще саксаул получать и козинаки, говорят, дают.

— Боже, о чем вы? — удивлялась Окуневская. — Вы уводите меня.

— Да куда ж я тебя увожу! Нужно мне очень! Думаешь, интересно здесь торчать без дела, когда люди в очередях стоят. А уйдешь — ты вон три минуты пела, а уже подол разодрала!

Алексей Николаевич Толстой

Этот диалог продолжался между каждой очередной «съемкой» на протяжении всего скетча. При втором, третьем моем появлении публика, хохоча, уже не давала начать. А я продолжала обсуждать насущные проблемы дня, приходила в ужас от свалившихся на меня забот, которые на самом деле были невеселыми, но выставленные в смешном свете становились проще и легче, и зрители радовались возможности посмеяться над тем, что ежедневно окружало их, чью нелепость они уже не замечали.

А играли все как! Я этого вечера забыть не могу! Это, знаете, бывает очень редко, когда актеры заражаются друг от друга и творят такое, не понять, откуда что берется! И тут все оказывается

к месту — и фарс, и утрированный сантимент, — все органично. И актер, если он действительно актер, купается в этом всеобщем творчестве.

На Михоэлса и Толстого я не могла насмотреться, поражаясь их выдумке, которая фонтанировала ежесекундно: вдруг во время объявленного режиссером перерыва они начинали усиленно прибивать какой-то карниз к декорации, грохоча молотками. Но грохоча так, что ни одной реплики их грохот не перекрывал, — это тоже искусство! Осип орал на них: они, дескать, мешали ему делать ценные режиссерские указания, а на самом деле зрители слышали каждое его слово.

А Мартинсон! С его пластикой человека, у которого нет костей! А Окуневская? Голосок — ангельский! И вообще она — чудесная женщина и умница на редкость. Красавица, хоть и не комсомолка!

Ф. Г. засмеялась: «Кавказскую пленницу» мы тогда в очередной раз посмотрели накануне в «Иллюзионе», чтобы «развеяться», — настроение у Ф. Г. было, как она выразилась, «непотребным».

— А жаль, — продолжала она, — что Гайдай меня не пригласил, роли не нашлось. А Этуш у него как хорош! Вот Рязанов приглашал меня, и не однажды. Вот и совсем недавно, но не поверила я в его мамашу с революционным прошлым, отказалась от роли в «Берегись автомобиля». У Любочки Добржанской, которую он позвал вместо меня, она получилась пресноватой. А фильм какой вышел! Блестящий! Вот вам еще один редкий случай актерского сотворчества. Там нет проколов, ни одного! А я до сих пор хочу петь «Наш паровоз, вперед лети!», но уже не для кого...

РАССЛАБЬТЕСЬ, И БУДЕМ СПАТЬ

Ирина Карташева прислала в больницу Ф. Г. письмо, в котором советовала не терять чувство юмора, вспоминать только самое радостное, думать о возвышенном.

— Вы запишете ответ? Я вам продиктую, — попросила меня Ф. Г.

«Благодарю Вас за советы, которым я не могу, к сожалению, следовать. Моя память подсказывает мне только вид шкафа с велосипедом в объятиях качалки, которые вращаются вокруг своей оси, вызывая недоумение и даже ужас у многих граждан, видевших это зрелище, а также у меня. (Речь идет о спектакле «Дальше — тишина», где режиссером был А. Эфрос, а художником — Б. Мессерер.)

Ваш совет не терять юмор сейчас для меня неприемлем. Мизансцена, в которой я должна пролежать на спине 40 дней без права вращения вокруг своей оси, не может вызвать чувство юмора у самого развеселого гражданина нашей необъятной Родины!! Врач мне сообщил со счастливой улыбкой: «Инфаркт пока что протекает нормально, но мы никогда не знаем, чем это все может кончиться».

Как вы можете понять, я не испытываю чувства благодарности к человеку, усилиями которого я очутилась в больнице. Но это не только художник, о котором Вы упоминаете, это и его вдохновитель и организатор! Другими словами, режиссер этого безобразия.

Перехожу к приветам и поклонам: Ие Саввиной, Адоскину, Бортникову, Диночке-парикмахерше, Юле Бромлей, Годзику… У меня нет с собой телефонной книжки — наверное, еще многим другим.

У меня от поклонов закружилась голова, которую от обилия лекарств я не узнаю, точно я ее одолжила у малознакомой идиотки».

В роли Ляли в фильме «Подкидыш». 1939 г.

Иногда она фантазирует, домысливает, дорисовывает факты. А потом, рассказывая «домысленную» историю, верит в нее, как в аксиому. Эта вера в собственный вымысел — наверное, прирожденное качество актрисы. Может быть, даже — основное. И вера в вымысел у Ф. Г. настолько сильна, что она заставляет поверить в него и своих слушателей, даже тех, кто знаком с первоисточником.

Вот одна из историй, которая складывалась постепенно. Одни детали исчезали, отбрасывались, другие добавлялись. И весь

рассказ наконец приобрел такой вид.

«В больнице, помимо борьбы с моим инфарктом, врачи боролись с моей бессонницей. Начали со снотворных: различные комбинации, интервалы, количества — в 19.30 — таблетка димедрола, в 20.00 — таблетка намбутала и полтаблетки ноксирона, в 21.00 — ноксирон и мелинал и т. д. Никакого эффекта. Однажды утром заходит докторша с просветленным лицом, полным надежды.

— Ну, сегодня вы хорошо выспались?

— Отвратительно! Заснула часов в пять-шесть.

— Но, Фаина Георгиевна, я же вчера вам дала успокоительное для буйнопомешанных!

— Правда?

— Ну конечно.

— Как жаль, что вы мне раньше этого не сказали: может быть, тогда бы я заснула…

Лечащий врач, симпатичная молодая женщина, недавно вышедшая замуж и постоянно недосыпающая, никак не могла понять причины бессонницы.

— Я вам пришлю психиатра, — сказала она.

Пришел пожилой мужчина с седым венчиком на голове и добрыми глазами.

— Расслабьте мышцы, — попросил он, — закройте глаза, и будем спать. Он удобно раскинулся в кресле и начал умиротворенно: — Вы в поле. Зеленая травка, тихо щебечут птицы. Над вами бездонное голубое небо, легкие облака, как бесчисленные стада баранов.

Психиатр старался, он говорил медленно и задушевно, используя хорошо знакомый стиль газетных очерков, чем очень смешил меня, но я старалась не показывать этого. Доктор шел по полям и лугам, заходил в широколистные дубравы. Голос его уже шелестел:

— А там за дубравой одинокий ручей, тихо журча, несет свои воды… Хрр-р.

Я вздрогнула: что это? Психиатр спал. Минут через пятнадцать он открыл глаза, — закончила свой рассказ Ф. Г., - посмотрел на меня и улыбнулся:

— Ну, вот и поспали, ну вот и молодчина!».

Зачастую рассказы Ф. Г. - пародия, рождающаяся на ваших глазах. Вот она говорит о собрании в театре, и перед вами проходит галерея типов, занимающих трибуну, — представитель режиссуры, вдохновенной речи которого мешает противохолерная прививка, робкий посланник подшефного предприятия, от смущения мнущийся и вытирающий пот со лба,

многозначительный общественный деятель, с гордым видом оповещающий об общеизвестном. И каждый сыгран, для каждого найден характерный жест, интонация, манера говорить, как будто перед вами не импровизация, а тщательно выписанный и обкатанный спектакль.

Любовь к пародии у нее была неистребима. В больнице, едва перенеся инфаркт, Ф. Г., вместо того чтобы продиктовать деловое письмо, вдруг сказала:

— Представляю, как могут писать деловые письма популярные артисты, эксплуатирующие свою популярность. Ну, например, деловое письмо вам, если бы вы были директором магазина:

«Многоуважаемый Глеб Анатольевич! Не откажите в любезности отпустить 2 кил. воблы на предмет угощения некоторых граждан, причастных к искусству. Готовый к услугам Борис Андреев, народный артист СССР».

Впрочем, не знаю, чего здесь больше — любви к пародии или потребности в игре, в новых ролях, которые в изобилии рассыпала перед ней жизнь и на которые так скупа драматургия. Во всяком случае, для своих пародийных представлений, в которые нередко превращались ее рассказы, Ф. Г. использовала не только свои жизненные впечатления. С каким удовольствием, смакуя каждую фразу, читала она «Письмо к ученому соседу» Чехова, великолепную пародию на мысли, чувства, образ жизни провинциала!

Антон Павлович Чехов — один из самых любимых писателей Раневской

Я не знаю, что натолкнуло Ф. Г. на мысль самой написать несколько сатирических писем-пародий. Все эти послания адресованы Татьяне Тэсс, очеркисту «Известий» и «Огонька». Пародируют они стиль некоторых читателей, завязывающих постоянную переписку с редакциями газет. Но не только. В ее «письмах Кафинкина» спрятана более тонкая и злая пародия: Кафинкин старается писать так, как пишут наши журналисты, пользующиеся набором штампов. Вместе с тем Кафинкин — типичный представитель той читающей публики, что обожает скандальную хронику, «педагогические раздумья», статьи на «моральные» темы, в которых нетрудно обнаружить черты все той

же скандальности.

Ф. Г. не сохранила копии всех «посланий Кафинкина». Одно из них, кажется первое, случайно обнаружилось среди пригласительных билетов, квитанций за электричество и паспортов на давно исчезнувшие часы. Вот фрагменты из него:

«Здравствуйте, всенародная Татьяна Тэсс!

Как я находясь в больнице на излечении, то читаю газеты. Пишет Ваш поклонник Вашего писания на пользу людей. Хоть я и не научный работник, но в прошлом интеллигент, грубо говоря, бухгалтер.

Ваши сочинения из жизни людей на почве разных фактов вызывают переживания. Другой раз можно заплакать, когда Вы описываете разные случаи на почве склоки и благородных поступков гражданского населения.

И еще меня привлекает Ваше женское начало, так как женщина средней упитанности — это мой идеал грез. На почве Вас (видел Вашу фотографию в «Огоньке») имел много сновидений, связанных с Вашим участием, где Вы появлялись в разных позах Вашего зовущего телосложения.

Разрешите Вас навестить на праздник Октября. Не обману доверия. Имею возможность принести торт «Сюрприз» и другие достижения кондитерских изделий.

Много я переживал, когда читали вслух Ваши сочинения на страницах печати. Переживали коллективно. Некоторые больные скончались вскорости на почве халтуры медицинских работников, которые перепутывали лекарства и не подносили утку. Продолжайте, Татьяна Тэсс, радовать советских людей Вашими описаниями наших достижений!

Преданный Вам пенсионер местного значения

Афанасий Кафинкин.

P. S. С некоторых пор меня мучает один животрепещущий вопрос: почему раньше люди происходили от обезьян, а теперь нет? Какое имеется для этого научное обоснование? Отвечайте немедленно. Г олова лопается от мыслей».

И обратный адрес: поселок Малые Херы, до востребования.

ЮРКА, ЮРА, ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

С Юрием Александровичем у меня сложные отношения, — сказала Ф. Г. — Не знаю сама, почему. «Люблю и ненавижу» — это не про нас. Может, мне мешает, что я знала его, когда он был почти мальчишкой, ходил в драных штанах, но был изысканно-тонким, с романтической шевелюрой, перед которой женщины падали ниц. И девушки, кажется, тоже — в двадцатых годах они еще существовали, не часто, но встречались. Если повезет, конечно. Юрке везло. Для меня он тогда был Юркой, в которого Ирина, дочь Павлы Леонтьевны, влюбилась без памяти. То есть я просто не ожидала от нее такого — была нормальным человеком и вдруг просто обезумела. К счастью, ненадолго. И с Веркой случилось то же самое, только эта дура сразу забеременела от него, не поняла, что он такой же отец, как я римский папа.

И все же я восхищалась им. После 150-й «Сэвидж» он прислал мне письмо:

«Дорогая Фаина! Что мне сказать вам сегодня? Это замечательно, что Вы сыграли свою 150-ю миссис Сэвидж и так сыграли!! («так» он подчеркнул сам и на два восклицательных знака расщедрился тоже). Сыграли вопреки всем происка напастей, которые Вас преследуют всю жизнь — назло болезням и прочим огорчениям!

Поздравляю Вас, крепко целую и буду ждать Вашей 300-й Сэвидж. Это и в моих интересах, сами понимаете!

Ваш Ю. Завадский. 21/VI-70».

Очень трогательно, не правда ли? Я умилилась его нестареющему романтизму и приготовила ему телеграмму: «Ромео! Целую. Джульетта». Но не послала ее — с чувством юмора у него в последнее время не в порядке.

И мой опыт, мой проклятый опыт! Если Завадский хвалит — значит, неспроста. Нет, никакой прибавки к премии не было, просто он вскоре вызвал меня и, вертя в руках свои карандаши, сказал:

— Верочка скоро возвращается из больницы — операция прошла успешно, но ей нечего играть. Я прошу вас уступить ей свою Сэвидж. Вы же не любите долго выходить в одной и той же роли, а для Веры это будет бенефисный спектакль. Мы и афиши специальные сделаем!

Хоть плачь, хоть смейся! Я согласилась, конечно. В конце концов, у меня оставалась еще моя Люси Купер.

Но вот тут я восхитилась Юрием Александровичем. Он сам создает свой образ мягкого и деликатного человека, не способного на резкое слово, не говоря уже о брани.

Я как-то говорила с ним, и он сказал об одном режиссере:

— Ну, это не совсем хороший человек.

— Не совсем? — переспросила я. — Отчего же?

— Ну, понимаете, — Юрий Александрович замялся, — ну, он — какашка.

И при этом, по-моему, даже покраснел, произнеся самое ругательное слово, на которое способен. И вместе с тем, когда надо, взгляд его голубых глаз становится стальным, и он не отступит, пока своего не добьется! И его преданность Вере достойна только уважения!

Как он относится ко мне? Иногда любит, ценит, иногда боится, не хочет связываться. Но иногда ведет себя не как мужчина, а как склочница из коммунальной квартиры.

Терпеть не могу ходить в собственный театр, но после «Петербургских сновидений» мне все уши прожужжали: «Ах, какой спектакль! Ах, Юрий Александрович! Ах, какой взлет!». Решила пойти, не делая из этого секрета, конечно. Это как раз тот случай, когда нужно подать свой приход, чтобы он не остался незамеченным, то есть делать то, что я терпеть не могу. Да, позвонила Завадскому, да, сказала, что жажду увидеть его работу. «Фаина, вы не представляете, какая это честь для меня!». Представляю, я все представляла заранее. Он, разумеется, предупредил актеров, ради которых я, собственно, и пошла на спектакль: по себе знаю, как приятно и как волнуешься, когда в зале сидят твои коллеги.

Юрий Завадский с 1940 года и до конца жизни был главным режиссёром Театра им. Моссовета. С Фаиной Раневской у него сложились непростые отношения

Спектакль, слава Богу, понравился, и я обошлась без пира лицемерия. Ирочка Карташева хороша, хотя и суетится иногда. И Бортников оказался молодцом — Ирина (Анисимова-Вульф), когда я сказала ей об этом, засияла, как новый гривенник. А главное, если честно, в спектакле есть то, что не у многих режиссеров получается, — атмосфера Достоевского, нервная, почти неосязаемая, — черт знает, откуда она берется. Завадский

таял от моих комплиментов, а я — от радости, что не нужно ничего врать. Ну, если и было нужно, то самую малость.

И тут же, через неделю или немного позже, — приглашение от Завадского на репетицию: он решил к очередной годовщине Октября сделать новую постановку «Шторма». Поскольку за пятьдесят лет советский власти драматурги, подкармливаемые партией, ничего лучше пьесы Билль-Белоцерковского, бредовой, по-моему, не создали.

Юрий Александрович собрал на сцене всю труппу и объявил, что на этот раз он задумал решить «Шторм» в романтическом ключе.

— Революция и быт сегодня несовместимы! — сказал он торжественно под гул одобрения присутствующих, а эта «Плять» Славка даже воскликнул: «Блистательно!». Славку Плятта хлебом не корми — дай только подсюсюкнуть руководству.

Завадский, очень довольный, объявил, что спектакль начнется вот так, как сегодня, — мы будем сидеть за столом, начнем читать пьесу и на глазах зрителей (известное всем новшество!) превратимся в своих персонажей. И тут же под знаменами и с метлами в руках все выйдем на коммунистический субботник — праздник свободного труда. И оркестр заиграет что-то возвышенное.

— А моя Манька? — спросила я.

— Что — Манька? — не понял Юрий Александрович.

— Моя Манька, что, тоже встанет под красное знамя?

— Ну конечно! Если хотите, мы дадим ей какой-нибудь лозунг!

Я не хотела. То есть хотела сказать, что большего бреда еще не видала, но Юрий Александрович тут же замахал руками:

— Бутафоры, дайте метлы и лопаты! Попробуем сегодня без музыки!

Наверное, во мне заговорил бес противоречия, но я не могла представить себе мою Маньку с метлой. Ходила по сцене и с удивлением разглядывала, чем занимаются здесь эти люди, да еще бесплатно. И ей-богу, чувствовала себя только Манькой.

— Фаина, что вы делаете? — вдруг услыхала я крик Завадского. — Вы топчете мой замысел!

— Шо вы говорите? — переспросила я в Манькином стиле.

— Замысел! Вы топчете мой замысел! — не унимался Завадский.

— То-то, люди добрые, мне все кажется, будто я вдряпалась в говно! — обратилась я к добровольцам коммунистического труда.

— Вон со сцены! — завопил Завадский.

Все замерли. Я выждала паузу, а паузу я держать, слава Богу,

научилась, подошла поближе к рампе и ответила:

— Вон из искусства!

Инфаркта не было. Я ушла, репетиция продолжалась, а на следующий день в списке распределения ролей моей фамилии не было. Нет, мою роль Завадский никому не отдавал. Он поступил как истинный стратег: выбросил Маньку вообще из «Шторма» — она не соответствовала новому романтическому решению старой пьесы. И тут комар носа не подточит!

ЗАСТОЛЬЕ В «ПОДМОСКОВЬЕ»

В санатории «Подмосковье» мы отметили день рождения Ф. Г. - 27 августа. Накрыли в ее номере (в санатории номера или палаты?) стол на четверых. В гостях была еще чета Сурковых: Евгений Данилович, главный редактор журнала «Искусство кино» и преподаватель ВГИКа (по ВГИКу я его и знал), и его супруга с удивительно доброй улыбкой.

— В Москве когда-то... Если я говорю «когда-то» — это значит до революции, — начала Ф. Г. — В Москве когда-то существовало типичное порождение хищнического общества грабежа и наживы (Евгений Данилович уже доволен — надеюсь, я выражаюсь острым языком его журнала?). Так вот, в Москве когда-то, где простые люди могли только мечтать о театре, а взбалмошные сыновья и дочери обеспеченных родителей, вроде меня, стремились зачем-то попасть на сцену — с жиру бесились, как сказал бы наш дворник, а у моего отца был даже собственный дворник, не только пароход. В этой самой Москве… Евгений Данилович, не наливайте мне больше: если я выпью еще хоть каплю за свое здоровье, я не смогу в рассказе сдвинуться с места, — попросила Ф. Г. и беспомощно склонила голову, вытянув над ней свои красивые руки, — как Плисецкая в «Умирающем лебеде», чем сорвала наш горячий аплодисмент. Затем быстро выпрямилась и остановила нас жестом. — А мне все же хотелось бы вас посвятить сегодня в святая святых своей актерской биографии — первого в жизни контракта, который я заключила когда-то в Москве…

Женщины — это не слабый пол, слабый пол — это гнилые доски под ногами

На Большой Никитской, переименованной впоследствии неизвестно зачем и почему в улицу Герцена, человека уважаемого, но никогда там не жившего, на этой самой Никитской, Большой, подчеркиваю, ибо есть еще и Малая, вернее, была — ее не так давно переименовали, присвоив имя тоже никогда на ней не жившего блистательного Василия Ивановича Качалова, — на Большой Никитской, в самом ее конце, буквально

в двух шагах от Театра имени Маяковского, известного в то время, о котором я говорю, как оперетка Потопчиной, во дворе дома, куда можно попасть только через причудливую арку в мавританском стиле, находилось здание красного кирпича с резным подъездом и лесенкой — типичное «а-ля рюс», где размешалась знаменитая биржа Российского театрального общества.

Туда и пришла я, еще не сыгравшая в Малаховском дачном театре, первом в моей жизни, ни одной роли. Я только присматривалась к ним. Полная женщина, перед которой я стояла, спросила меня:

— В каком амплуа работаем, девочка?

Я молчала, потом тихо повторила то, что слыхала в Малаховке:

— Гранд-кокетт.

— Ну, не очень «гранд», но есть кое-что. На один сезон в самый театральный город мира Керчь я вас беру, — сказала она и добавила грустно: — Девочки в моем театре без дела не остаются.

Мадам Лавровская, так звали мою хозяйку, владела небольшим, уютным театром, над сценой которого, во втором этаже слева, она жила, на сцене которого она и работала. Исполняла роли по разряду «благородных матерей», впрочем, и «коварных соблазнительниц» тоже. Когда мы репетировали, днем, мадам обычно в своей квартире жарила рыбу — аромат ее наполнял всю сцену — и в открытые двери наблюдала за нами.

— Мадам Лавровская, ваш выход, — кричал ей суфлер, он же разводящий.

И чаше всего мы слышали в ответ:

— Пропустите меня — скумбрия не подрумянилась!

Мне дали первую в жизни роль со словами — это была учительница, которая дает уроки сыну владельцев богатого дома. Я кинулась зубрить текст, но трагик остановил меня:

— Голубушка, кто же это делает в наше время? Не будьте провинциалкой — настоящий актер работает под суфлера. А мы с вами лучше отправимся на гору Митридад! Быть в Керчи и не побывать на Митридаде — простите, пошлость!

Я не хотела быть провинциалкой, хотела почувствовать себя актрисой, нагло отложила листки с ролью и пошла с трагиком на Митридад. До спектакля оставалось два часа.

Перед началом я надела свое лучшее зеленое платье. У меня, как я считала, были темно-каштановые волосы, завистники утверждали, что они рыжие, но все соглашались, что зеленое мне к лицу. В нем я вышла на сцену. И сразу все поплыло в глазах.

— Здравствуйте, — сказала я громко, но, кажется, не по

тексту.

Все актеры улыбнулись, закивали головами, ожидая моей реплики.

— Добрый день, господа! — не растерялась я, не слыша ни слова из тех, что шипел суфлер.

— Добрый день, — отозвалось несколько голосов.

Суфлер уже надрывался, выкрикивая что-то почти в полный голос, но я не слышала его и решила поздороваться с каждым участником сцены в отдельности.

— Добрый день, — подходила я к актеру, протягивая ему руку.

— Добрый, — отвечал он с улыбкой.

— Что вы хотите сказать? — опередила меня мадам Лавровская, когда я подошла к ней. — Ведь вы, наверное, хотите увидеть нашего Мишеля, не так ли?

— Добрый день! — настаивала я на своем. И с этим ушла за кулисы.

— Какая странная учительница у вашего Мишеля! — услышала я реплику мадам мне в спину.

Публика ничего не поняла — а в зале и сидело-то человек двадцать, не больше, — актеры продолжали играть, поделив мой текст меж собой.

После спектакля, когда я сидела зареванная в гримерной в своем зеленом платье, и между прочим, в зеленых чулках тоже, обтягивающих мои ноги, о которых трагик сказал: «Ничего себе!», — мадам заглянула в дверь:

— Не реви! Жди: к тебе придут и возьмут тебя.

Клянусь, я не поняла ее, но просидела в пустом театре до утра, слушая возню мышей и проклиная себя. Мудрая мадам Лавровская не выгнала меня. Она дала мне вторую попытку, правда, попробовать себя не в амплуа «гранд-кокетт», а в травести. Я должна была появиться гимназистом в жуткой мелодраме, рассчитанной на непрерывный поток зрительских слез. И представьте, на этот раз был почти успех. Жаль, что его не заметили зрители, которых в зале было уже меньше двух десятков.

Наутро после моей успешной премьеры мадам собрала нас и объявила:

— Форс-мажор, господа!

Это означало, что ее антреприза лопнула и ни она нам, ни мы ей ничего не должны.

Трагик помог мне и двум новым подругам добраться до Феодосии, где нас взяли в труппу, но и здесь буквально через месяц антрепренер произнес это роскошное слово «форс-мажор!».

Блудной дочери пришлось возвращаться домой и на коленях, сверкая пятками, вымаливать прощение у родителей.

«Не забывайте ходящих и путями неправедными!» — эту мою любимую фразу из Евангелия я не знала тогда, но и без нее родители не забыли меня. Простили. Уже летом 1916 года я снова была на Кислых Водах, пила ессентуки из источников № 4 и № 17, а о сцене почти не вспоминала.

В январе восемнадцатого в нашем таганрогском доме на Николаевской я осталась одна: родители со всем семейством отбыли за границу на собственном пароходе. Я уезжать не пожелала и вскорости, не заперев дом, уехала в Ростов-на-Дону, где решила найти себе тихую, интеллигентную работу — учительницы, работающей на дому (я отлично знала французский), или на худой конец гувернантки к не очень взрослым детям. Представляете, как я разбиралась в происходящем вокруг?..

И в первый же вечер — я уже рассказывала вам об этом, — едва поселившись в полупустой гостинице, пошла в театр. И увидела чудо: актрису — саму женственность, с удивительной, лебединой шеей, хрупкими руками и голосом, который я не знаю, с чем можно сравнить. Это была Павла Леонтьевна Вульф. Ее называли второй Комиссаржевской.

Фаина Раневская в Баку. 1929 г.

Ночью в холодной гостинице я ни о чем, кроме сцены, думать уже не могла. А наутро, раздобыв в театре адрес — тогда это не составило никакого труда, — отправилась к своему новому кумиру. Самое смешное, что Павла Леонтьевна, оказалось, жила в той же гостинице, где остановилась и я, но только не в узком пенале с рукомойником, как у меня, а в роскошном «люксе».

Меня впустили в номер, и я так растерялась, увидев живого ангела, что, получив приглашение садиться, плюхнулась не в кресло, а на низенький кофейный столик, к счастью, ничего не повредив. Смех Павлы Леонтьевны, переливчатый, как колокольчик, привел меня в себя. И когда я сказала ей, что

мечтаю о сцене и хотела бы учиться у нее («Сочту за самое большое счастье, если вы согласитесь!») — так примерно выразилась я, а она вдруг сразу согласилась, не жеманничая, не размышляя, и предложила мне приготовить два отрывка из идущих в ростовском театре пьес, я поняла: это судьба. От того, что тебе написано на роду, не уйти.

СЭВИДЖ СО СТЕНДА ШАНЕЛЬ

До нового сезона еще месяц, но Ф. Г. позвонила из дома отдыха:

— Голубчик, найдите время, привезите мне мою роль — Евдокия даст ее вам. «Сэвидж» лежит на столике возле зеркала. А то я так наотдыхалась, что забыла свою профессию и не помню — ни кто эта американская дама, ни что она говорит. Заодно и побеседуем: свежий воздух начинает меня сводить с ума.

В электричке я перелистал тот самый альбом, который Ф. Г. беззвучно читала перед каждым спектаклем. Тогда он с переписанной от руки ролью был девственно чист. Теперь его не узнать: на полях, на оборотных сторонах листов — заметки, отдельные фразы, обведенные овалом, указания. Последовательность их появления не установить, да и так ли важно это?

Только титульный лист остался неизменным: монограмма «FR», которой Ф. Г. обычно надписывает свои книги, и заголовок «Миссис Сэвидж».

— Как хорошо, что вы приехали, — радостно встретила Ф. Г. — Сегодня рассказали чудный анекдот. Про меня. Немного грубоватый, но точный.

Приходит к врачу пациентка:

— Доктор, что со мной творится? Чувствую, постоянно чего-то не хватает. Позавтракаю — то же чувство, съем второй завтрак — опять. Пообедаю — чего-то не хватает, пополдничаю — то же самое. Поужинаю, поем перед сном — снова чего-то не хватает!

— Жопы вам второй не хватает! — сказал доктор. Мы смеемся, а Ф. Г.:

— Вы ничего не замечаете, а я уже дважды за прошлый сезон расширяла юбку. И здесь опять прибавила, хоть и стараюсь есть меньше, и хожу каждый день до одурения — по часу! Моя реплика в «Сэвидж» — «Это было, когда я еще пыталась похудеть!» — теперь вызовет гомерический хохот.

Она взяла альбом с ролью и стала разглядывать его.

— Вы обнаружили следы исканий моего места в искусстве? — улыбнулась она. — Переписали бы мои подпорки в свою тетрадь: может быть, это приоткроет страшную тайну — работу Раневской над ролью. А тайны, собственно, нет. Есть хаос, который непонятно как складывается в характер. Хаос, без которого роль мертва и нет простора для фантазии.

Я никогда не заведу учеников. Чему их учить, если у меня все не как у людей. Вот говорят: «Знает он роль назубок, разбуди

среди ночи — прочтет любой монолог!». А по-моему, это ужасно! Раневская вовсе не обязана держать всю роль в голове. Ежечасно и ежесекундно. От этого с ума сойти можно. Я должна знать ее, только когда становлюсь миссис Сэвидж. Для меня тут и защитная реакция — сохранить свежесть текста, не заболтать его.

— А зачем вы переписали роль от руки? В этом тоже тайный смысл? — спросил я.

— Есть, — ответила Ф. Г. — Есть, как ни странно. Пока не перепишу всю роль своей рукой, она не моя. Да и на этих листках из машинки где бы я разместила свои подпорки?!

Вот некоторые из них.

Как это ни странно, к работе над Сэвидж я мысленно взяла слова Маркса: «Я смеюсь над так называемыми «практическими» людьми, их премудростью. Если хочешь быть скотиной, конечно, можно повернуться спиной к мукам человечества и заботиться о своей собственной шкуре».

«Трудно по виду определить ее возраст. Ее лукавое лицо — моложаво, глаза живые, ясные. На лице заметна тень улыбки — это придает ей шутливый вид, даже когда она сердится. Седые волосы сияют, подкрашенные синькой. Они хорошо уложены. Одета нарядно».

Миллионерша со стенда Шанель!!! (Оценка Ф. Г. авторской ремарки. — Г. С.)

Неподражаемая миссис Сэвидж в исполнении Раневской

Я не знала, куда мне девать себя, чем заняться. Я так наслаждалась, мне так нравилось играть на сцене. Почему это люди так себя любят? Что в них хорошего?

Для меня секрет смеха — только в совокупности таланта драматурга, актера, режиссера. Если кто-то выпадает из этого звена — все идет прахом. Гений Чаплина — совокупность в нем актера, драматурга, режиссера и чудесного человека.

Потребность быть полезной, нужной они считают моим безумием.

— Мне плохо — сердце. Необходимо немедленно сделать педикюр!

— Зачем?

— А вдруг умру, как же без педиюра?!

Безумным легче довериться. Они не предадут.

ДЕЛО НЕ В ЛИТЕРАТУРЕ

— Жаль, что вы не посмотрели «Опасные гастроли», — сказал я в следующий приезд в «Подмосковье».

— Неужели это так интересно?

— По-моему, это блестящий образец смеси революции и кафешантана, банальностей и революционной фразы, примитива и претензии на философские афоризмы, то есть образец пошлости в конечном итоге.

— А разве на самом деле революция не была такой? Анна Андреевна назвала ее как-то «самодержавием в пролетарских одеждах», «кровавым карнавалом» с одним результатом: с чем боролись, на то и напоролись. Но я не поняла, почему именно мне нужно было смотреть этот шедевр пошлости? Или вы думаете, что я на своем веку мало видела подобных? Мне так немного осталось, дорогой вы мой, что я уже не имею права тратить время не только на говно, но и на все, что лежит рядом и считается годным к употреблению…

Помню, я как-то принес Ф. Г. новую книгу Андрея Битова «Аптекарский остров», очень понравившуюся мне.

— У меня сегодня неважно с глазами, если можете, почитайте, — попросила Ф. Г.

Я начал один из рассказов.

— Нет, это плохо, — остановила меня Ф. Г. через минуту. — Попробуйте, пожалуйста, другой.

Перевернув несколько страниц, начал другой. На этот раз Ф. Г. слушала минуты три:

— Но ведь это не литература. Это плохо написано. Или литература второй свежести, что невозможно: «свежесть бывает только первой, она же и последняя». Все остальное — тухлятина. Времени на нее нет.

— Но вы же читали Кочетова!

— Читала. Даже журнал с этим романом — как он назывался? «Чего же ты хочешь»? — выпросила на один день. Но разве я хоть раз назвала это литературой? Пусть это не роман. Пасквиль тоже вид творчества. Здесь ведь дело в другом: писания Кочетова — факт нашей жизни, и читать их нужно, чтобы знать, в каком бардаке мы живем.

Кочетова, помню, Ф. Г. читала при мне — два номера «Октября» в очередь со мною. Манера читать у Ф. Г. была весьма своеобразной: она вздыхала, стонала, вскрикивала.

— Что? — спрашивал я.

— Нет, нет, ничего. Не хочу вам мешать — вы еще до этого

дойдете!

А потом вдруг швырнула журнал так, что он полетел через всю комнату:

— Все, больше не могу. Эта сволочь считает, что страдания несчастных ленинградцев в годы войны, людей, брошенных собственным правительством на произвол судьбы, преувеличены! Нет, надо брать стул и идти с ним через весь город, на Тверской и там публично размозжить этому подонку череп!

Журнал она больше в руки не взяла, а когда через несколько дней я принес пародию Зямы Паперного «Чего же ты, Кочет?», она смеялась до слез и все повторяла:

— Ангел! Вы же знаете Зямочку — скажите, что я целую его, ноги согласна ему мыть и вытирать остатками своих волос!

Правда, когда я прочел абзац, где героиня пародии Уя (у Кочетова она Ия) говорит своему возлюбленному: «Ты знаешь, какого счастья хочу я?». «Какого, Уя?» — спросил он. — Ф. Г. всплеснула руками:

— Ой-ей-ей! За это Паперного у нас могут обвинить в порнографии! Там стоит где-нибудь его фамилия?

Фамилия не стояла, но это Паперного не спасло. Его исключили из партии и уволили с работы из Института мировой литературы, придравшись к чему-то.

Когда же я месяца через два принес Ф. Г. коричневую книжку Шевцова «Во имя отца и сына», она на следующий день сказала:

— Нет, здесь надо говорить не о литературе. И вообще не говорить. Это же сочинение фашиста!

Санаторий им. Герцена. Вера Марецкая, Юрий Завадский и Фаина Раневская

У меня в детстве была чудная книга — подарок родителей, — продолжала она, — толстая, тяжелая, с гладкими, плотными листами и изумительными иллюстрациями-гравюрами, тончайше выписанными. Это — «Сказки братьев Гримм». Мне их читали бесконечно, а потом и я сама тоже. Там есть одна сказка, не помню, как она называется: родился в семье долгожданный ребенок, девочку назвали Жданочка, и вскоре все собрались отпраздновать это событие. Мать спускается в подвал налить из бочки в кувшин вина. И видит: над бочкой на стене висит кирка — большая, с острыми концами. Села мать на скамеечку и заплакала:

— Вот вырастет наша дочка, пошлем мы ее в подвал за вином, а кирка упадет и пробьет ей голову!

Сидела, плакала, пока не пришел отец. Рассказала она ему все — он тоже заплакал. Потом то же самое с дедом, бабкой, тетушкой. Пока не пришел сосед, молодой, красивый парень, который снял кирку со стены:

— Теперь новорожденная останется целой!

Надо что-то делать, Глебушка. Нельзя не остановить это безумие. Иначе…

— Вы не оригинальны, — сказал я. — Сегодня днем, когда мы

стояли в нашем коридоре литдрамвещания, курили и говорили о Шевцове, кто-то вдруг предложил:

— Братцы, пора переходить от слов к делу!

И знаете, какая была реакция? У всех языки будто присохли. Докурили, побросали окурки в урну и, понуро склонив голову, разошлись…

Боюсь, что в этом все и дело, — сказала Ф. Г. — Боюсь, что страх навечно поселился в каждом из нас. Вы знаете, какой страшный сон меня преследовал в тридцатые годы? Ну, после тридцать седьмого. И этот кошмар я видела не раз: «Спасите! За мной гонится НКВД!» — просит меня запыхавшаяся корова. Я прячу ее в большой сундук, но никак не могу закрыть крышку — рога мешают. Слышу уже приближение погони, хочу попросить корову опустить голову пониже, но не могу сделать это, потому что ужасно мучаюсь, не зная, как обратиться к ней: «мадам», «гражданка» или «товарищ корова»?..

«КАК ГРУСТНО, КОГДА ОНИ УЛЕТАЮТ!..»

Речь зашла про хиппи — Ф. Г. прочла статью о Вудстокском фестивале в «Театре».

— Я их понимаю. У них нет программы, у них отрицание ради отрицания, анархизм. Но нечто подобное испытала и я. Однажды, когда мне было лет пятнадцать, я, увидав проходившую по улице босую сверстницу (осень, холодно!), бросила ей свои туфли — модные, с тупыми вывороченными носками — фирмы «Вэра», — вот увидите, эта мода скоро вернется.

— Возьми и обуйся, — крикнула я.

Через несколько минут в комнату вошел отец.

— Я видел, что ты сделала, — сказал он. — Но я прошу тебя запомнить: здесь нет ничего заработанного тобою. Ничего.

Как мне тогда хотелось уйти из дома, как все вдруг стало чужим.

Мой старший брат, он погиб на фронте, пошел добровольцем в империалистическую, зашел как-то ко мне в комнату — я тогда еще играла в куклы — ну, мне было лет восемь-девять, а ему четырнадцать, — обвел все глазами и сказал трагически:

— Здесь все краденое. Все краденое.

Он был легальным марксистом и прочитал тогда Прудона…

— Кто украл? — спросила я.

— Отец, — ответил брат, — и мать.

— Мама не могла украсть, не могла, — заспорила я.

Я ведь, вы знаете, ушла из дома, когда решила стать актрисой. Ушла с одним чемоданчиком. Но мама мне помогала — переводила ежемесячно небольшую сумму.

Однажды с моим приятелем-актером я зашла в банк и получила очередной перевод — несколько бумажных купюр. Когда мы вышли из массивных дверей, налетевший ветер вырвал у меня деньги. Я остановилась и, следя за исчезающими в вихре банковскими билетами, сказала:

— Как грустно, когда они улетают! — и не сдвинулась с места.

— Да ведь вы Раневская! — воскликнул мой приятель, сразу вспомнив героиню «Вишневого сада». — Только она могла сказать такую фразу.

Когда мне пришлось выбирать себе псевдоним…

— Как псевдоним? — перебил я.

— Никто этого не знает — так давно я переменила фамилию.

— Но я-то, — удивлялся я, — читал вам письма от брата, отправлял ваши послания ему и ни разу не задумался, почему у него другая фамилия!

— Я решила взять фамилию Раневская. У нас есть что-то общее, далеко не все, совсем не все.

Напора красоты не может сдержать ничто!

О ПОЛЬЗЕ ПСЕВДОНИМОВ

— Раневская — хорошая фамилия, — сказала Ф. Г. — Звучная и ясная. Это вам не классический «Темирзяев», сразу вызывающий отрицательную реакцию.

Я вот никак не пойму, как можно концертировать с такой фамилией, как «Крыса»?! Увижу на заборе афишу с гигантскими буквами — Крыса и каждый раз вздрагиваю! Я ли человек такой тонкой организации, или тут другая причина, но клянусь: не пойду в консерваторию, где мадам Чехова своим сказочным голосом объявит:

— Чайковский. Концерт для скрипки с оркестром. Исполняет лауреат множества конкурсов Олег Крыса!

Ну не хочу я слышать рядом с любимыми композиторами фамилию, напоминающую грызунов, которых с детства боюсь и не могу видеть.

Ведь до революции, в проклинаемые сегодня блаженные времена, не случайно же все люди публичных профессий — певцы, художники, адвокаты, врачи — думали о своих именах. Мы как-то с Павлой Леонтьевной читали телефонный справочник — какие там фамилии, диву даешься! Но только не у артистов! Ну, нельзя же слушать оперу, где Джульетта — Паскудина, а Ромео — Шкодников! Это просто вам помешает настроиться и на Гуно, и на Шекспира.

Мы смеемся, а Ф. Г. вспоминает записные книжки Ильи Ильфа, которые она нередко цитирует.

— Помните у него: «Наконец-то! Какашкин меняет фамилию на Сергей Грядущий. Глуп ты, Грядущий, вот что я тебе скажу». Так, кажется?

Между прочим, Ильф — тоже псевдоним. Только тут уж никак не скажешь, что писатель хотел скрыть свою национальность. Не дожил он, слава богу, до страшных лет конца сороковых — начала пятидесятых годов. И вы этого не знаете.

— Почему? Я помню, — возразил я.

— Что вы помните?! — Ф. Г. вдруг стала агрессивна, — Вы учились, а не жили! Особенно когда поднялась эта кампания против врачей — «убийц в белых халатах», по улицам еврею ходить стало опасно! Сегодня в это трудно поверить, но в театре какой-то ублюдок назвал билетершу-татарку «жидовской мордой», и та быстро куда-то скрылась — только бы не нарваться на скандал.

Говорили, где-то в Сибири, среди болот уже строили для евреев бараки без света и воды — настоящие концлагеря.

— Моего отца вызывали и предложили ему развестись, если он хочет остаться в Москве, — сказал я.

— Вот видите! А сколько лет ваши родители уже вместе?

— В этом году исполнится пятьдесят.

— И никакой золотой свадьбы у них не было бы, если бы лучший друг советского искусства внезапно не дал дуба. Мне позвонил Михаил Ильич и сказал одно только слово:

— Подох.

Я сразу поняла, о чем он, но испугалась, как такое говорить по телефону?! А он:

— Не бойся, Фаина, хуже не будет!

Хуже некуда уже было! А тогда, в начале пятидесятых, мы все фиксировали мелочи, стараясь не думать о главном. Помню, как все перешептывались:

— Заметили? По радио перестали звучать еврейские фамилии!

Ну, Левитана тогда трогать еще не решились, а Владимиру Герцику предложили стать Владимиром Сердечным. Смешно, хоть и было не до смеха. Кто-то предлагал заняться массовыми переводами: Гольдберг превратить в Златогорову, Фельдман — в Полевую, Зискинда — в Сладкова. За словари засесть нетрудно, но антисемитов это не уменьшит. А в интернационализм русского народа я все равно не поверю, как не могу назвать беззлобными еврейские анекдоты, которыми он всегда тешился. И кто их сочинял, вы задумывались?..

Кстати, о словарях. У вас есть Даль, а как часто вы его читаете? Изредка. Меня не волнует, почему у нас вообще изредка занимаются культурой, но мне хотелось бы иметь дело с человеком, который знаком с культурой не понаслышке. Тащите сюда том на «Р»!

Мы склонились над словом «рано» — от него, по мнению Ф. Г., и произошла столь дорогая ее сердцу фамилия Раневская.

— Видите, — сказала она, — по Далю «рано» — это не только «встать ни свет ни заря» или явиться в гости, когда тебя еще никто не ждет. По Далю, «рано» — заранее, загодя, преждевременно. Я думаю, Чехов дал такую фамилию Любови Андреевне потому, что она тоже преждевременный человек: живет страстями, когда все вокруг все высчитывают, вымеривают, выгадывают. Раневская — значит появившаяся рано, неожиданно, не к сроку. Может быть, Чехов даже думал, что неприкаянным людям, непрактичным, умеющим любить без оглядки, если и найдется место в жизни, то лет эдак через двести. Таким людям, каким Чехов был сам.

Москва 50-х годов XX века

АРТИСТ УМИРАЕТ ДВАЖДЫ

Весенний, солнечный, тихий день.

— Я вижу солнце из окна, — сказала Ф. Г., когда я позвонил. — Врачи снова уложили меня — не знаю, что там они еще нашли на моем израненном сердце. Приезжайте.

С каким удовольствием я читаю вашего Киша, — встретила меня она. — Почему у нас так мало его издают? Что за тираж для такой блестящей книжки — две тысячи пятьсот экземпляров!

— В тридцатые годы его издавали больше, — сказал я, — а в общем, сегодня, кроме студентов-журналистов, изучающих курсы теории печати, Киша, пожалуй, мало кто и знает. Я случайно наткнулся на эту книжку у букиниста, а старые сохранились разве что в Ленинке.

— Кстати, здесь есть перевод Софьи Парнок, — Ф. Г. открыла кишевские «Репортажи». — Вот о велосипедных гонках — как великолепно переведено. Вы слыхали эту фамилию?

— Нет, не слыхал.

— Вот судьба художника! Верно сказано: артист умирает дважды — один раз естественной смертью, второй — в памяти современников. Софья Парнок — поэтесса, очень своеобразная, талантливая, с шумной биографией. Печаталась она до революции и в двадцатые годы. А затем смолкла, и вот: зарабатывала на жизнь переводами, человеком она была высокообразованным. Умерла до войны…

Боже, сколько я знала людей, которых уже нет, — моих сверстников, старших товарищей или намного младших меня. Это страшно, страшно… Зажилась я. Что-то кажется мне, теперь осталось уже недолго.

Я остановил Ф. Г.

— Ладно, ладно, не буду. Но я же действительно одной ногой в могиле, а играть все еще хочется. Больше всего боюсь, что придется отменить следующий спектакль — он включен в афишу «Театральной весны». Я должна его сыграть. И вы на меня не сердитесь: грустные воспоминания в моем возрасте — это не признак меланхолии. Хотя, когда я вспоминаю людей, с которыми меня столкнула жизнь, мне радостно и смертельно тоскливо оттого, что их уже нет.

Мне ведь довелось играть с таким гением, как Зускин! Мы снимались с ним в фильме «Последний извозчик».

— Я не видел этой картины.

— Ее никто не видел. Съемки шли в Киеве. Режиссер — мало кому известный человек с невообразимой фамилией — Шмон. А

сценарий был хороший, комедийный. Извозчика играл Зускин — по фильму мой муж, нашу дочь — Ксения Тарасова, хорошая актриса и чудный человек, ее жениха — Марк Бернес.

Помню, я садилась на козлы и иногда заменяла на работе мужа, а потом, когда он переквалифицировался на вагоновожатого, я стояла у него за спиной и просила:

— Ну, позвони еще раз! У тебя это так красиво получается.

У меня где-то сохранилась фотография — я ее сама придумала — мы с Зускиным «молодые»: новобрачные голубки с тупыми лицами, замершие перед объективом местного фотографа!

— А что же с фильмом?

— Не помню причину, но съемки прекратились, когда была снята почти вся картина.

— Это было до войны?

— Пожалуй, что после. Нет-нет! До войны! Сейчас вам скажу. Я приехала в Киев в новом костюме бордо. Его я как раз сшила на съемках «Мечты». О, после «Мечты» я разбогатела — получила пятьдесят тысяч, и эти огромные деньги ухлопала на свой гардероб. У меня ведь фактически ничего не было. А тут, во Львове, где мы снимали натуру «Мечты», подвернулась портниха из Парижа, польская еврейка. Шила божественно. У нее я и сделала себе ансамбль — велюровая шляпа, костюм, сумка и туфли — все бордо.

Помню, мы шли с Ксенией по Крещатику — обе элегантные, погода чудесная, солнце, зелень, легкий ветерок с Днепра, и настроение радостное, и съемки «Извозчика» шли удачно, и вдруг видим — навстречу женщина с безумными глазами: идет, что-то выкрикивая. Вокруг нее люди, а она, одетая вполне интеллигентно, вытянув руку с указующим перстом, пророчески взывает к окружающим. Мы замерли.

А женщина подошла к нам и, указав на наши лица, протяжно сказала:

— Сотрите вашу краску, распустите ваши прически, сорвите ваши праздничные одежды — скоро придет огонь и смерть, слезы и горе, запылают жилища, почернеют листья. Сотрите вашу краску, сбросьте ваши праздничные одежды!

И пошла дальше. Как это было страшно. Она была сумасшедшей или пророчицей. Это был сороковой или сорок первый год. Не знаю, может быть, она действительно предчувствовала события, но я вспомнила ее, когда приехала после войны в Киев, на гастроли, и увидела сгоревшие дома и почерневшие листья.

Фильм наш не сохранился. Нет уже Бернеса, погиб Зускин.

Будучи репрессированным, он не выдержал и, разбежавшись, размозжил себе голову о стену. Умерла и Тарасова.

Актеры разных талантов, разной одаренности, но не одна ли у всех судьба — умереть дважды?

Таперша в фильме «Александр Пархоменко». 1942 г.

ГРАФИНЯ ЛИЗОГУБ

— Чего я только не натерпелась в нашем многострадальном Первом красном театре в Крыму!.. Голод, холод, ужасы войны и смены власти, от каждой из которых можно было всего ждать.

Голод все усиливался.

Мы шли в театр, обходя трупы умерших от дистрофии. Почему-то меня командировали к комиссару выпросить что-нибудь для голодных актеров.

— У вас глаза, полные страдания. Вам он скорее даст хоть какой-нибудь ордер.

Я стояла перед комиссаром, пытаясь улыбаться, чтобы понравиться ему, а потом расплакалась. Чудо: женские слезы на него подействовали.

— Ордер на мясо — для театра! — распорядился он. Счастливая, сжимая клочок серой бумажки с печатью, я кинулась получать мясо. Мне накидали чего-то в мешок. Чего именно, я не видела: смотреть на мясо боюсь с детства. Дотащила мешок до театра, где меня все ждали. Графиня Софья Ильинична Лизогуб, актриса нашей труппы, поднесла к глазам лорнет и, рассмотрев требуху, кишки и обрезки, что насовали мне в мешок, спокойно сказала:

— Милочка, вы — жопа!

А она была хорошей женщиной, по сцене Милич, и тоже, как и я, работала в амплуа «гранд-кокетт». Дружила с Павлой Леонтьевной. И впоследствии я переиграла многие ее роли.

Страшные это были годы. В Севастополе я видела, как красноармейцы расстреливали французских морячков — на пирсе, недалеко от их корабля. Выводили по одному и стреляли. И каждый из французиков кричал на ломаном русском:

— Нет! Я — больчевик!

А мужичок в шинели, стоявший возле стрелявшего, все повторял:

— Дави его, гада, дави.

— Они назвали моего кузена вредителем, — возмущалась Софья Ильинична. — Выдумали же слово!

Она была неправа: «вредитель», как и «вредун», и «вредчик», давно существовали в русском языке, только не употреблялись за ненадобностью. Время было другое.

НА СВИДАНИЕ

Еду в Ленинград. На свидание. Накануне сходила в парикмахерскую. Посмотрела в зеркальце — все в порядке. Волнуюсь, как пройдет встреча. Настроение хорошее. И купе отличное, СВ, я одна.

В дверь постучали.

— Да, да!

Проводница:

— Чай будете?

— Пожалуй… Принесите стаканчик, — улыбнулась я. Проводница прикрыла дверь, и я слышу ее крик на весь коридор:

— Нюся, дай чай старухе!

Все. И куда я, дура, собралась, на что надеялась?! Нельзя ли повернуть поезд обратно?..

Виктор Боков пел мне как-то частушки. У него их тысячи. Одна про меня:

Эх, сапожки, вы, сапожки,
Очень тонкие носки.
Меня лечат от простуды —
Я страдаю от тоски.

Сняться в плохом фильме — все равно что плюнуть в вечность

РОДНЫЕ ПЕНАТЫ

В Таганрог, на родину Ф. Г., я приехал в теплые последние дни августа. С утра прошел дождь, и город встретил меня умытой, свежей зеленью, чистыми, без пылинки улицами и тротуарами. Я шел по зеленому коридору улицы Чехова — с маленькими, аккуратными домами, высоким подстриженным кустарником — и удивлялся, как удалось сохранить в неприкосновенности этот уникальный ансамбль: улицу и домик писателя. Уверен, что без доподлинного окружения сам домик воспринимался бы иначе. Сколько раз мы натыкаемся на исторические реликвии, которые в соседстве с современными домами, стеклянными кафе и прозрачными салонами красоты выглядят анахронизмом, осколком прошлого.

Краеведческий музей, разместившийся в богатом особняке бывшего промышленника-грека, оказался на ремонте. В небольшом флигеле-пристройке я познакомился с работниками музея — убеленным сединами знатоком истории города Петром Давыдовичем Карпуном и живой, подвижной, очень энергичной Анной Майоровной Когановой, уже вышедшей на пенсию, но не оставляющей своей работы («Не могу без нее!»).

Анна Майоровна прежде всего мне сообщила, что ей остро необходима статья о Раневской.

— Вы не смогли бы нас выручить? — быстро говорила она. — Завтра 75-летний юбилей, а разрешение от горкома на статью в газете получено только сегодня, нужно как можно скорее подготовить материал. Вы же журналист — вам и карты в руки!

Получив мой отказ, Анна Майоровна попросила совета, как поступить:

— Может быть, использовать статью, которую у нас давали к 70-летию? Правда, в ней две грубейшие ошибки — автор утверждает, что Фаина Григорьевна окончила таганрогскую гимназию номер два, где учился ее прославленный земляк Антон Павлович. Но, во-первых, Раневская гимназию не кончала, а училась только в начальных классах — она сама нам об этом написала, а во-вторых, гимназия номер два была-то мужская! Учиться в ней Фаина Григорьевна никак не могла!

Я вспомнил, как Ф. Г. однажды мне сообщила:

— Я решилась наконец написать свою подробную автобиографию. Первую фразу я уже придумала: «Я родилась в семье небогатого нефтепромышленника».

Мне показали папку, где хранится переписка музея с Ф. Г. Несколько коротких, немногословных открыток, одно письмо, в

которых Ф. Г. обещает прислать фотографии для новой экспозиции, рассказывает о доме, где прошло ее детство. Адреса она не помнит. Ей запомнилось только, что это была Николаевская улица, а дом находился неподалеку от огромного собора. Улица сейчас называется иначе, собора, расписанного Брюлловым, давно нет (его снесли в начале тридцатых годов), но работники музея отыскали дом Ф. Г.

— Я, наверное, смогу вам показать кое-что интересное, — сказал Петр Давидович и достал потрепанную книгу. Это — «Альманах-справочник на город Таганрог и его округу на 1912 год. С портретами, одной картой и двумя планами». Издан он очень небольшим тиражом таганрогским издателем Кривицким.

— Уж и не знаю, есть ли такая книга в Москве, — откровенно горделиво улыбнулся Петр Давыдович. Он сосредоточенно перелистал «Альманах» и протянул его мне: — Вот, пожалуйста!

Я увидел портрет, который был до того похож на современную Раневскую, что, не стой под ним подпись, я решил бы, что это сама актриса в мужском гриме. Но подпись указывала, что передо мной был ее отец — «Григорий Фельдман — почетный член ведомства учреждений Императрицы Марии. Староста Таганрогской хоральной синагоги. Основатель приюта для престарелых евреев».

Еще через несколько страниц «Альманах-справочник» указывал, что «почетный член ведомства» имел собственный дом на Николаевской улице под нумером 14 и держал торговое заведение, расположенное там же. Сообщался и ассортимент этой торговли: «азотистые туки для удобрения земли, железо, рельсы, балки».

Анна Майоровна Коганова проводила меня на Николаевскую, переименованную в улицу Фрунзе.

Однажды, когда в Москве мы шли с Ф. Г. по Вшивой горке («На самом деле она была «Швивая горка», — говорила Ф. Г. — Здесь жили швеи, но народ переосмыслил это не очень понятное название»), Ф. Г. остановилась и показала двухэтажный дом на противоположной стороне:

— Вот в таком точно я жила в Таганроге! Только балкона здесь нет.

Я запомнил этот дом — возле него Ф. Г. мне много рассказывала о своем детстве, родном городе, его обитателях. Но в Таганроге я понял, что фасад двухэтажного творения архитектора-сумасброда похож на десятки других, расположенных поблизости. А балкон, который мог бы стать отличительной приметой в Москве, здесь встречался на каждом шагу.

Это балкон особый — таганрогский, южный. Широкий, квадратный или прямоугольный в основании, он перекрывает весь тротуар и поддерживается обычно двумя тонкими чугунными столбиками. На нем можно установить кресло, качалку, а то и небольшой плетеный столик. Такой балкон — одна из самых типичных принадлежностей провинциального быта южных городов.

Был он и в доме детства Ф. Г. Одна из соседок, живущая в Таганроге и помнившая «Фаиночку» еще девочкой (соседке было уже 89 лет), рассказала, что она часто видела Ф. Г. с матерью, сидящей на балконе. Робкая, бледная девочка обычно внимательно слушала, что ей читала или рассказывала мать, но не играла ни в какие игры с подругами. Прямо под балконом находилась парадная дверь — она, как ни странно, оказалась незапертой, и по старинной деревянной лестнице («Теперь таких не делают — дерева такого нет», — сказала Анна Майоровна) мы поднялись наверх — туда, где располагались жилые комнаты. Весь второй этаж поделен между четырьмя квартиросъемщиками.

Я взглянул на потолки, и голова пошла кругом: ромбические, трапециевидные, усеченнопирамидальные — они буквально разъезжались на глазах и уплывали вместе со стенами куда-то за пределы дома. Это действительно были самые фантастические потолки, которые довелось видеть.

Милка Рафаиловна и Гирш Хаимович Фельдман — родители Фаины Раневской

Все оказалось таким, каким описывала Ф. Г. И двор с дворницкой, куда девочка любила приходить, чтобы

полакомиться пирожками на постном масле, и улица, и городской сад, и театр — старое-старое здание, в котором прежде гастролировали иногородние труппы, а теперь играл драмколлектив имени Чехова.

У дворницкой нам встретился старикан в синей сатиновой рубашке в горошек, но не в косоворотке, а с современным отложным воротничком, что, впрочем, не лишало его удивительного сходства с мхатовскими персонажами горьковских пьес.

— Тута, тута он жил — Федьман, — шамкая, искажая почти до неузнаваемости фамилию отца Ф. Г., говорил старикан. — Внизу его контора была, вверху — семья, вон тама на Угольной — склад. И пароход у него, у Федьмана, был — он в Грецию за товаром ходил. Я хорошо знаю, я с ихним дворником в друзьях был.

Анна Майоровна, поминутно вставляя вопросы и искренне восхищаясь новыми данными, обещала завтра же прийти и полностью записать рассказ старика.

Уже в Москве, перечитывая свои таганрогские заметки, я вспомнил о страничках, переданных мне Ф. Г. года два назад. В этих записях-воспоминаниях речь идет о Таганроге, о детских впечатлениях Ф. Г., полученных в ту пору, когда она жила в доме на Николаевской, близ собора.

«Однажды мать повела меня в оперу на «Аскольдову могилу» — это было мое первое посещение театра. Театральный зал пленил меня: он блестел и показался мне золотым, был небольшим, уютным. Какое это было, наверное, наслаждение играть в таком уютном театре, где можно говорить, не форсируя голоса! Но в «Аскольдовой могиле» очень гремел оркестр, певцы ужасно кричали. Мне было страшно, я плакала, а потом завопила диким голосом:

— Мама, пойдем в оперу, где не поют!

Я помню китайцев с длинными косами, которые ходили по дворам и выковыривали тоненькими палочками маленьких белых червей из зубов. Помню изумленные, выпученные глаза моих сограждан при виде червяков, якобы вылезающих из больного зуба.

Помню степенных присяжных поверенных, любителей музыки, собиравшихся поочередно друг у друга и исполнявших квартет Бородина.

Помню серебряные свадьбы, гулянья в городском саду, помню улетающий бумажный шар и мою тоску, и первое ощущение одиночества, вызванное тем, что шар унесся далеко в пространство.

Помню паноптикум, где дышала Клеопатра со змеей на груди, помню и бродячие зверинцы, в которых худые облысевшие лисицы смотрели человечьими глазами. Помню коммерческий сад, где дирижер-итальянец неистово махал белой палочкой, и оркестр, вызывавший чувство счастья».

ПЛАСТИНКА РАНЕВСКОЙ

На Всесоюзной студии грамзаписи я делаю серию пластинок «Веселый вечер».

Обычно под ее стрельчатыми сводами в готическом стиле мы расставляем стулья, приглашаем друзей и знакомых своих и всех сотрудников, и, когда наши техники окружат сценическую площадку и зрителей со всех сторон микрофонами, начинается концерт. У нас выступали Райкин, Миронова и Менакер, Виктор Чистяков, Карцев и Ильченко. И записи получились великолепные: убежден — всем «разговорникам», как их называют на эстраде, нужны слушатели, их реакция. Иначе — пустота, космический холод, и то, что вызывало хохот, оказывается совсем не смешными.

— И вы мне предлагаете выступить перед публикой? — удивилась Ф. Г.

— Да, шестого марта. Мы устроим концерт в честь женского дня и соберем в кирхе звезд эстрады, запишем их…

— Погодите, — перебила меня Ф. Г. — Я не поняла, где вы соберете этих звезд?

— На Всесоюзной студии грамзаписи, в кирхе, там наша Большая студия, — пояснил я.

— Как в кирхе? Какой? — недоумевала Ф. Г.

— В англиканской. — Меня начал разбирать смех. — Ее уже лет пять как отдали фирме «Мелодии».

— И вы пишете эстрадные концерты в зале, где раньше шло богослужение? А сцена где? На амвоне? Отлично. А в алтаре? В алтаре вы поставили барабаны. И Пугачева у вас поет «Все могут короли», хотя, клянусь, такого короли не могут. Это возможно только в стране, где безбожие выставляют напоказ и гордятся, если при этом кто-то аплодирует голой жопе!

В роли спекулянтки в фильме «Легкая жизнь». 1964 г.

— Фаина Григорьевна, в этом зале пишут и Чайковского, и Бетховена! Геннадий Рождественский записывает там оперы и все симфонии Шостаковича!

— Это не делает чести Геннадию Николаевичу! — парирует Ф. Г.

— Но и Дмитрий Дмитриевич приходит на эти записи, — продолжаю я. — На прошлой неделе я видел его в садике перед кирхой, разговаривал с ним.

— Вы все равно не поймете, как это грустно и гнусно: чечетка на амвоне! — сказала Ф. Г. — Я не нахожу здесь даже повода для улыбки. Что же касается меня, то вы опоздали — карьеру шантанной этуали я закончила много лет назад. К тому же при

всем уважении к Вите Ардову учить наизусть его текст не собираюсь.

— Но вы позволите дать вашу запись на публике, — попросил я, — и записать смех и аплодисменты?

— А если ни смеха, ни аплодисментов не будет?

— Ну, как будет, так будет, — сказал я. — Искусственно мы ничего добавлять не станем.

Так и порешили. А вскоре Ф. Г. неожиданно сказала:

— А я, между прочим, уже записывалась на пластинки. Но не в вашей кирхе, конечно, которая мне уже приснилась в страшном сне. У вас на студии есть такая строгая женщина в двойных очках и с голосом фельдфебеля. Она изнасиловала меня по телефону. Я ей сдуру сказала, что люблю лесковскую «Воительницу» и мечтала бы записать ее. Я же не знала, что этот фельдфебель в юбке — ее звать Александра Григорьевна, вспомнила, — будет звонить мне и днем и ночью: «Сколько страниц текста? Уместим ли мы его на одной пластинке? Есть ли у вас хороший портрет?».

— Что вы имеете в виду, дорогая, когда говорите «хороший»? — спросила я.

— Ну, в строгом английском костюме с пиджаком и белой блузой — для конверта. Мы поместим его на лицевой стороне.

— Английского костюма у меня, к сожалению, нет, — сказала, я, — и не лучше ли на пластинке напечатать портрет Лескова?

— Лескова мы дадим на оборотке!

— То есть? — не поняла я.

— Ну, сзади, на обратной стороне конверта, — объяснила Александра Григорьевна. — Так у нас принято. Там будет напечатана аннотация и о вас, и о писателе.

Наглая врунья! Ничего этого в результате не было. Хорошо еще, что я не разорилась на английский костюм. Пластинка вышла в конверте с пейзажем — слава Богу, что не с фиолетовыми ромашками, которыми украшали тогда всех подряд! И, конечно, без всякой аннотации — обошлись и без лесковской, и без моей биографии. Да я подарю вам ее, конечно! Нужно только сообразить, куда я сунула эти несколько штук — специально для подарков костюмерше, гримерше, доктору, нянечке, девочке из «скорой помощи», если они ко мне поспеют до того, как я отдам концы…

И заплатили мне такие гроши, что и сказать стыдно. А Ледечка Утесов, когда я ему рассказала о своем дебюте в граммофоне, ничуть не удивился.

— В последний раз, — сказал он, — мне отсчитали пятерку за двухминутную песню, по два с полтиной за минуту. «Министр

культуры Фурцева утвердила новые ставки!» — объяснили мне. «Передайте ей, — попросил я, — что Утесов согласен в будущем работать за тарелку чечевичной похлебки, которую он получал в двенадцать лет, выступая в балагане Бороданова! Неплохой гонорар для ребенка!».

Пластинку с «Воительницей» я получил через несколько дней, но уже в больнице — Ф. Г. как в воду глядела! Собирая впопыхах вещи, когда медики приехали за ней, она взяла с собой и диск, который вручила мне с автографом:

«Милому, заботливому доктору Глебу Скороходову от благодарной пациентки Ф. Раневской. 69, неудачнейший год. Больница».

Ничего лучше «Воительницы» Ф. Г., на мой взгляд, не прочла.

БАЛ-МАСКАРАД

— Искусство самоограничения — великая вещь! — сказала Ф. Г. — Владеют им только гении.

Мы сидели на песчаной дюне у моря. Теплый, тихий вечер, Финский залив был недвижим, и казалось, будто Дом отдыха актера расположен не под Ленинградом, а где-то там, в банановолимонном Сингапуре.

— Надо уметь когда-нибудь остановиться, — Ф. Г. вдруг засмеялась. — У меня это не получается. Елена Сергеевна Булгакова как-то сказала мне: «Вы женщина серьезная, положительная, я вам верю. Клянусь, как только вы заметите, что пришла пора прекратить красить губы, наводить румянец, оставить цветную косметику, я немедленно и беспрекословно подчинюсь!».

Не помню, какая вожжа попала мне под хвост, но зимой, по-моему, сорокового года, — да, да, Михаила Афанасьевича уже не стало, — я позвонила Елене Сергеевне и сказала решительно одну зловещую фразу:

— Пора!

Конечно, я, идиотка, поторопилась. Особенно сегодня мне это ясно, когда в моем возрасте появиться на людях без косметики просто неприлично. А тогда, в мои сорок, я, очевидно, в очередной раз решила: любви ждать нечего, жизнь кончилась и надо перестать ее раскрашивать. Елена Сергеевна, кстати, встретила мое решение без прежнего энтузиазма:

— Фаиночка, наверное, вы правы. Но очень прошу вас: давайте отложим принятие обета до новогоднего карнавала. А там уж…

Идея устроить карнавал или маскарад — как хотите — пришла Елене Сергеевне. Не припомню в моей жизни ни одного вечера, когда бы я так хохотала, как в ту новогоднюю ночь. С Борей Эрдманом, он известный художник, мы вышли на Тверской бульвар, повалились в сугроб и стонали, задыхаясь от смеха. Мы встречали Новый, 1941 год. Вот и верь приметам! Насмеялись мы на всю войну.

Подготовка к спектаклю

Хотя, когда сегодня начинаю вспоминать, а что там было, понимаю: ничего особенного. Было главное: ощущение молодости, нахлынувшее на нас, беззаботности, когда вдруг все жизненные проблемы кажутся чепухой, а сама жизнь представляется легкой и воздушной. То есть такой, какой она никогда не была и не будет!..

Карнавал Елена Сергеевна устроила у себя в квартире на Суворовском — вы там были. Не такие уж просторы, как на воландовском балу, но Маргарита всегда умела, умеет и сейчас устроить из своих комнаток праздничные залы.

— Вход на карнавал без маскарадных костюмов строго воспрещен!

Это она объявила заранее.

Я, правда, пренебрегла запретом и явилась на бал в своем обычном платье, но меня тут же костюмировали: выдали необъятных размеров легкую накидку, которую Эрдман расписал

причудливыми звездами («Ни одной одинаковой!» — с гордостью сказал он мне), накидку, которую Елена Сергеевна назвала «плащом Царицы ночи», а-ля Метерлинк. И к этому сказочному одеянию напялили мне на голову необычную шляпу из другого мира: она напоминала плетенное из соломки гнездо, в котором сидела гигантская птица с полураскрытым хищным клювом. Шляпу и птицу мне привязали, как в детстве, тесемочками, сходящимися под подбородком. И я быстро поняла почему: как только я хотела что-нибудь съесть и склонялась над тарелкой, птица, опережая меня, тыкалась клювом в салат, сыр, заливное — в зависимости от того, какое блюдо я выбрала.

Хозяйка вышла к столу в изысканном туалете: в абсолютно, на мой взгляд, прозрачном хитоне и маленьком черном цилиндрике набекрень, чудом закрепленном на ее волосах… Эффектно! И все же начало вечера ничего особенного не предвещало. Ну, что может быть необычного, когда все знают друг друга — и в масках, и без масок. Танцевать не хотелось, интриговать — тоже, да и некого было. Помните этот анекдот: «Интриговали, интриговали — два раза! Один раз — в коридоре, другой — под лестницей!».

Меня даже охватило чувство неловкости. Это потом я использовала свою птицу на всю катушку. А пока я слонялась по квартире, не находя себе места. Профессор Дорлиак в «домино» что-то оживленно обсуждала на диване с подругой, тоже в «домино», но другого цвета. Сережка Булгаков нацепил наполеоновскую треуголку и болтал что-то ужасно глупое. Мне даже стало по-настоящему жутко, когда в квартиру вползли опоздавшие Славы — Рихтер и Ростропович. Медленно вползли в костюмах крокодилов — отличные костюмы им сделали в театре Образцова: с зеленой резиновой пупырчатой кожей, с когтистыми лапами. Дамы визжали и поджимали ноги, когда Славы приближались к ним. Профессор Дорлиак в ужасе даже попыталась залезть на стол.

Но Славы, откинув маски, сели проводить старый год и, удивительно быстро насытившись, снова стали медленно ползать по полу, сталкиваясь друг с другом. Вошли в роль. А веселья все не было.

И тут, перед самой полуночью, появилась еще одна гостья — актриса, всю жизнь игравшая старух. И оттого, несмотря на свой совсем несолидный возраст, выглядевшая старухой и даже по-старушечьи шамкающая. Она обладала одним секретом, разгадки которому нет, — вы смеялись, едва увидев ее. На этот раз она пришла в невообразимом костюме. Он назывался «Урожай».

— Я только что с Сельскохозяйственной выставки — первое

место во всесоюзном конкурсе «Изобилие» — мое!

Торчащие во все стороны колосья, сплетенные в венок, украшали ее голову, все платье было увешано баранками разного калибра и цвета. Баранки-бусы на шее, баранки-браслеты на запястьях, баранки-кольца на щиколотках обеих ног, баранки-серьги в ушах и даже одна баранка в носу, непонятно как держащаяся.

Я тогда подумала: «Пельтцер — гениальна!». А это, конечно, была она — другой такой старухи у нас нет! Эдмонд Гонкур писал: «Клоуны, потешающие публику забавными выходками, склонны к грусти, свойственной комическим актерам». К ней это относится, как ни к кому больше. Эта ее грусть всегда чувствовалась, всегда оставалась — вторым планом, подложкой, а оттого и все, что она делала, становилось еще смешнее.

Я сказала вам, что это была встреча сорок первого года? Вранье! Сейчас вспомнила — еще не отменили хлебные карточки: поэтому костюм Тани выглядел фантастическим — ее хотелось тут же начинать обкусывать. Значит, это первая мирная новогодняя ночь сорок шестого года. И насмеялись мы на целый год тоже не случайно: страшнее его не припомню.

А посмотрели бы вы, как Таня играла в рулетку! Баранки грохотали, когда она, дрожа от волнения, ждала, выпадет ли наконец зеро.

Впрочем, азарт охватил многих. Сережа-крупье довольно улыбался, все остальные неизменно проигрывали. «Повезет в любви» — уже не утешало, когда закончились наличные и перешли на мелок, то есть игру в долг. Слава Рихтер побледнел, и его губы стали синими — его проигрыш достиг пяти тысяч — суммы по тем временам немалой!

И тут Елена Сергеевна в одно мгновение изящным жестом остановила колесо Фортуны:

— Игра в игру «Рулетка» закончена! Сереженька, раздай гостям проигрыш!

Гениальная женщина! А Пельтцер и тут ни на секунду не вышла из роли: блистательно сыграла такую радость, которая не дает говорить, заставляет задыхаться, перехватывая дыхание и сжимая сердце.

— Мне плохо! — вскрикнула она. — Воздуху нужно, воздуху! Я — на бульвар, если вы не возражаете!

— Боря, — минут через двадцать сказала я Эрдману, — пойдем, посмотрим, что с Таней: она долго не возвращается.

На бульваре мы увидели милиционера.

— Да, — сказал он нам, — здесь сидела женщина, но вокруг нее неизвестно откуда почему-то собралось столько собак, что

она закричала «Караул!» и убежала!

— Что-то это северное солнце забыло, где оно находится, — сказала Ф. Г., вставая. — Припекает даже под зонтом, а мне теперь этого не надо. Пойдемте, погуляем немного?

Татьяна Пельтцер

И когда мы зашли в тень сосен, продолжала:

— Как я любила загорать! На пляже тогда в кабинах все надевали купальные костюмы — этого варварского слова «купальник» не существовало. А купальные костюмы той поры больше закрывали, чем открывали: загорать могли руки до плеч и ноги от колен и ниже.

А когда меня впервые отвезли во Францию, мне было лет десять — двенадцать, — не считайте, в каком году, — в первом веке до Рождества Христова! Так я тогда поразилась: в Ницце за

высоким забором обнаружила «Ева-пляж» — так он назывался. Там самые смелые женщины загорали вообще без всего. В России и представить такое не могли… А пижонство было всегда.

— Где вы так загорели, милочка? — спрашивали меня.

— В Ницце, — отвечала я как можно более равнодушно. — Там такое ласковое солнце!

КЛЯТВА НА ВОРОБЬЕВЫХ ГОРАХ

Был один из тех летних дней, которые называют чудесными. Тепло, солнечно, ни облачка. К тому же — воскресенье, все свободны. Татьяна Тэсс согласилась отвезти нас на прогулку.

— Я покажу вам удивительное место, — сказала Ф. Г. по телефону, — лес в самом центре Москвы, заросли, полянки, изумительный воздух и чистота — ни пакетов, ни бутылок, ни папиросных коробок. Никто этого леса не знает, потому и не успели его изгадить. Обещайте, что никому о нем не расскажете, — это единственное его спасение.

Татьяна Николаевна довезла нас в своей красной «Волге» до Ленинских гор, до балюстрады, где уже толпились новобрачные и зеваки.

— Сворачивай налево! — командовала Ф. Г. — Теперь направо! Стоп!

Мы вышли у заасфальтированной дорожки, свернули на тропинку и, пройдя кустарник, оказались в лесу. Ф. Г. не преувеличила. Все было на месте: чащоба, полянки, купы берез, чистота, тишина и воздух.

— Ну, разве не чудо! — не уставала восхищаться Ф. Г., как будто это чудо сотворила сама. — Когда-то сплошной лес покрывал все Воробьевы горы. Горожане ездили сюда на извозчиках с лубяными коробейками, полными снеди, коврижек с маком, спиртным. Расстилали на полянках крахмальные скатерти и такие пикники закатывали! Я еще застала то золотое время — ела здесь, пила и влюблялась во всех подряд.

— В кого конкретно? — спросила Тэсс.

— Это удивительные горы, — продолжала Ф. Г., не заметив вопроса. — Душа твоя здесь раскрывается, и любой взгляд, случайную улыбку воспринимаешь как проявление внимания, симпатии, а значит — начало любви. — И добавила: — То самое, о чем я тебе, Таня, не расскажу: ты не умеешь хранить девичьих тайн и тут же выболтаешь их читателям «Известий».

Мы углубились в лес, вышли на полянку и наткнулись на самодельную скамейку: гладко оструганная доска, приколоченная к пенькам.

— Видите, какие заботливые люди гуляют здесь, — сказала Ф. Г., садясь. — Покурим на свежем воздухе. Только чтобы ни одного окурка — я специально взяла пустой коробок.

После «Пышки», — говорила она, — мы с Ниной ранней весной вышли сюда, на Воробьевы, и, как Герцен и Огарев, поклялись на виду Москвы никогда больше ни в одном фильме не

сниматься: так нас вымучил этот сарай Москинокомбината. И бесконечный холод, что поселился в нем. Я ведь южанка и все думаю: несправедливо поступил Господь со славянами — дал им то, что осталось, когда лучшие земли уже роздал.

Нина клятву сдержала, а я, стоило только меня поманить, снова кинулась сниматься. После войны, правда, решила: все, с этим надо кончать раз и навсегда. Это было на «Весне». Съемки ее начались зимой сорок пятого. И опять — холод, зуб на зуб не попадал. Квартиру профессора Никитиной построили в павильоне, в котором ветер гулял, как в аэродинамической трубе. Снег под ногами таял только, когда включали диги. Любочка в шубе, я в валенках. Умолила Александрова разрешить мне сниматься на крупных и средних планах, не снимая их. Иначе — окочурюсь!

В уборной — там топили буржуйку — нарисовала шарж на себя и написала: «Люблю грозу в начале мая, а в декабре люблю «Весну»!» — Хватило юмора!

Одно меня удерживало. Нет, не гонорар: прожила бы на то, что платил Охлопков. Григорий Васильевич обещал продолжать съемки в Праге, о которой я столько мечтала. Хотела, наконец, повидаться с родными. Через тридцать лет после разлуки. С мамой, братом, сестрой. Я ведь и писать им боялась, адрес их мне тайно передали еще в двадцатые годы. Тогда был жив отец, о котором я неизменно писала в анкетах: «Я родилась в семье небогатого нефтепромышленника».

Пристань на Воробьевых горах. 1938 г.

В сорок шестом его уже не было, но каждый вечер, каждый свободный от съемок день я проводила в семье. И за долгие годы впервые почувствовала себя счастливой.

Снимали мы под Прагой, так что к маме добраться было не трудно. Немцы там построили шикарную киностудию, филиал своей УФы. Огромные павильоны, теплые, с новейшей аппаратурой, приборами света, которые катались под крышей и опускались, как захочется. Никогда такого не видела. И все действует без ремонта и остановок! Немцы там снимали до последних дней войны, и Любочка плясала свои «Журчат ручьи» на полу, на котором отбивала чечетку Марика Рекк в «Девушке моей мечты», — декорации этой картины еще не успели разобрать!

Наши тогда приняли решение: студия будет как трофей филиалом «Мосфильма». Мы появились на ней как новые хозяева, может, оттого нас и обслуживали по высшему разряду. Представляете, в моем распоряжении находился автомобиль! Никогда в жизни такого со мной не было. Но наши потом почему-то отдали студию чехам, те назвали ее «Баррандов», и все там, говорят, стало по-другому.

А тот свой зимний шарж я подарила Любочке. И подписалась: «Фей». Я рассказывала тебе, Таня, и Глебу, что назвала так себя при нашей первой встрече на «Мосфильме», когда Орлова решала свою судьбу. С тех пор этот «фей» стал нашим паролем.

— Фей дома? — звонит мне Любочка. — Попросите его к телефону.

— Фей вас слушает, — отвечаю я Михайловским басом — Неужели вы решили, что с вами говорит Фея Драже или, упаси Бог, Жизель?

Мы рассмеялись, а Ф. Г. добавила:

— Представить меня в «Щелкунчике», порхающей в пачке, — даже мне смешно. Хотя я над собой смеюсь редко — доставляю это удовольствие другим.

ПОДАРКИ ОТ РАНЕВСКОЙ

Она любит делать подарки и сама часто говорит:

— Я безумно люблю делать подарки. Безумно!

Насчет безумия не знаю. Но Нина Станиславовна рассказывала, как Ф. Г. подарила кому-то новую люстру. Роскошную. Или не подарила, а забыла ее в троллейбусе.

— Умоляю, про эту люстру — ни слова! — просила меня Ф. Г. — Делают из меня растеряху. То Танька Тэсс написала в «Известиях», что я теряю по двенадцать зонтов в году, по зонтику в месяц — на одних зонтах разоришься! То Нина вдруг начинает утверждать, что я кому-то подарила ее пылесос, когда по нему давно тосковала помойка! Я, может быть, действительно странная, но не настолько же!

Мне Ф. Г. дарит книги. Иногда я собираюсь уходить, а она:

— Постойте, прошу вас, так просто не отпущу! — и водит глазами по полкам. — Мне просто необходимо вам что-то подарить: без этого не смогу уснуть!

Однажды Ф. Г. мне пыталась всучить свою кофту:

— Нет, вы посмотрите, какая она! Чистая шерсть, пушинка к пушинке. И на пуговицах. Причем на мужскую сторону, обратите внимание — свидетельство моей тяги к мужескому полу! Не хотите? Ни разу не надеванную! Ну, примерьте хотя бы. Из приличия.

И сразу без перехода:

— Я вам не показывала, как портной — сексуальный маньяк проводит примерку? Нет? Ниночка, иди сюда! — Нина Станиславовна была на кухне. — А то на Глебе я не могу это показать — стесняюсь. — И мне: — Я скромная блядища.

То, что тут же разыграла Ф. Г., не передается словами. Портной внимательным взглядом осматривал заказчицу, оценивая ее прелести, просил повернуться к нему спиной, издавал восхищенное «О-о!» при виде задней части и спрашивал:

— Значит, вы хотите костюм? Строгого покроя, английский костюм — пиджак и юбка? — Он брал сантиметр. — Объем груди, значит... — При этом он не столько измерял ее, сколько обнимал заказчицу.

— А длина пиджака... — Его рука скользила вниз. — На груди сделаем бантики? — Мелом он намечал крестики. — Бантиков не надо? — И тут же двумя руками начинал энергично стирать их...

— Смеетесь? — удивлялась Ф. Г. — Если бы вы видели, как это показывает Утесов, стали бы от смеха заикой!

Вернусь к подаркам. Полгода назад Ф. Г. объявила:

— Дарю Вам Полное собрание сочинений великого пролетарского писателя Максима Горького. Все сорок томов.

Или пятьдесят? Все, кроме одного — томика с пьесами, который зажулила Ирина, быстро привыкающая к чужим книгам, как к своим.

В следующий раз Горький аккуратными стопками покоился у канапе в коридоре.

— Вас ждет! — напомнила Ф. Г.

Но поскольку я не проявлял никаких восторгов и никакой активности, месяца через три тома исчезли.

— Я нашла-таки человека, чего мне это стоило! — который ценит основоположника социалистического реализма! В домкоме! Если бы вы видели, как, обезумев от счастья, он целовал мне руки! Я полчаса потом мыла их горячей водой…

А вчера я получил в подарок двухтомник Алпатова «Этюды по истории искусства». Прекрасное издание, с иллюстрациями на мелованной бумаге и цветными картинками на вклейках. И оба тома в картонной коробочке с ангелом в «окне» — не знаю, как эта коробочка называется.

— Берите, берите! Я там все написала, чтобы вас не обвинили в воровстве!

Дома я посмотрел титул. Сначала шла надпись, сделанная чужим почерком: «Наимеждународнейшей между всех народных артистов мира, дорогой Фаине Георгиевне Раневской от всех Абдуловых. Август, 1968 г.». А ниже — знакомые буквы Ф. Г.: «Милый Глебуха, поскольку я не согласна с надписью дарителей, считаю себя вправе передарить Вам эти опусы по истории искусства в надежде, что Вы заделаетесь эрудитом. Ваша Ф. Р.».

С Любовью Орловой в фильме «Весна»

«ГЕНИЙ ОН. А ВЫ — ЗАОДНО»

— Как удивительно все-таки устроен человек, — сказала мне вчера Ф. Г. -Проходят годы, и, если судьбой ему предназначена долгая жизнь, он начинает терять близких. В юности потеря воспринимается катастрофой, концом света, в зрелости — ударом, который надо перенести, в старости — я имею право судить и об этом возрасте — чувство остроты потери притупляется: это сама природа приучает к мысли о конечности жизни. Вам это не понять. А если и поймете, то абстрактно, вообще. Вы еще в потоке бегущих, и этот поток не дает вам ступить в сторону, увлекает за собой, да вы и сами не хотите отстать от него. И я ведь тоже!

Хотя казалось бы: теряю людей, которых хорошо знала, с которыми работала, дружила, была близка, вижу, чувствую, как все меньше сверстников остается рядом, — так надо перестать суетиться. А я опять хлопочу о новой роли, а в «Сэвидж» и под подбородком в последний раз так натянули кожу, что я в первом акте рта не могла раскрыть и в антракте устроила скандал! Зачем? Не надо, говорят, тратить бесценные нервные клетки, которых у нас, оказывается, так много, что я не понимаю, что с ними еще делать?!

И вот, несмотря на нескончаемость этого потока, в котором каждому отпущено свое место и время, вдруг возникает ощущение пустоты. Безграничной. И если бы не память о тех, кто ушел, можно было бы сойти с ума.

Я чаше всего вспоминаю Павлу Леонтьевну и Ахматову. Нет, вру — не вспоминаю, это совсем другое, я же не васнецовская Аленушка. Они постоянно со мной. Беру Костомарова — и сразу Анна Андреевна. Она пришла ко мне, а я не могла оторваться от книги.

— Что вы читаете, Фаина?

— Переписку Курбского с Иваном Грозным. Это так интересно! — выпалила я с восторгом.

— Как это похоже на вас, — улыбнулась она грустно. Она не раз повторяла мне:

— Вам одиннадцать лет и двенадцати никогда не будет, не надейтесь!

А однажды вдруг добавила:

— А Боренька еще моложе, ему четыре года.

Это она о Борисе Пастернаке…

После договора с ВТО я увидел, как на столике Ф. Г. снова появились большие, как из амбарной книги, листы в линеечку,

исписанные ее размашистым почерком.

Чтобы не спугнуть, я сделал вид, что не заметил их. Но Ф. Г. не допустила такого небрежения.

— Вы что ж, не замечаете новоявленную Мурашкину?! Испугались, что и вас замучаю своим чтением?!

— И уже почти серьезно: — Боюсь, ничего из меня не выйдет. И в космосе меня Терешкова опередила, и Кочетов в литературе… Впрочем, прочтите вот это. А лучше и перепишите, а то я, неровен час, спущу все это в сортир, жалко все-таки…

Вот эта очередная попытка Раневской стать мемуаристкой:

«Читала однажды Ахматовой Бабеля, она восхищалась им, потом сказала:

— Гений он. А вы — заодно.

После ее рассказа, как внучатый племянник писателя Гаршина предложил ей стать его женой, я ей сказала:

— Давно, давно пора, мон анж,

Сменить вам нимб на флердоранж!

Как она смеялась!

Ее, величественную, гордую, всегда мне было жаль. Когда же появилось постановление, я помчалась к ней.

Открыла дверь Анна Андреевна. Я испугалась ее бледности, синих губ. В доме было пусто. Пунинская родня сбежала. Молчали мы обе. Хотела напоить ее чаем — отказалась. В доме не было ничего съестного. Я помчалась в лавку, купила что-то нужное, хотела ее кормить. Она лежала, ее знобило.

Есть отказалась.

Это день ее и моей муки за нее и страха за нее. А потом стала ее выводить на улицу, и только через много дней она вдруг сказала:

— Зачем великой моей стране, изгнавшей Гитлера со всей его техникой, понадобилось пройтись всеми танками по грудной клетке одной больной старухи?

Я запомнила эти точные ее слова.

Она так изумительна была во всем, что говорила, что писала. Проклинаю себя за то, что не записывала все, что от нее слышала, что узнала!».

В роли Маньки в спектакле «Шторм». 1950 г.

ВСТРЕЧА В ПАРКЕ

В этой кунцевской больнице я восхитился только парком. Ну что, разве мы таких широких, залитых солнцем коридоров не видали? Да, в нашей 545-й — не уже, и на переменах мы по ним носились, как по беговой дорожке. И потолки такие высотой в три с половиной метра не раз встречали: в том же нашем Москворецком дворце пионеров, бывшем графском особняке, — не ниже.

Это просто сегодня после приземистых хрущоб все кажется таким огромным. И палаты в двадцать квадратных метров на одного — тоже непривычны. Да еще с телефоном, не в конце коридора, один на весь этаж за две копейки, а двушки, как назло, всегда в дефиците, особенно в больницах. А тут в каждой палате красивый белый телефон на тумбочке: звони хоть целый день, как в голливудских фильмах.

Ф. Г., конечно, всю эту роскошь первым делом высмеяла. Как и бесчисленное количество женщин и мужчин в белых шапочках и халатах — по десятку на каждого больного. Но то, что лучшее в этой больнице, — парк, оспаривать не стала.

Мы пошли гулять. Дорожка, покрытая хорошо утрамбованным гравием, петляла среди деревьев, и казалось, ей не будет конца.

— Я ведь сюда приехала на профилактику, да и подышать свежим воздухом не мешает, — улыбнулась Ф. Г. — Хамство, конечно, но раз можно. Не все же этим равным среди равных отдавать. А врачи относятся ко мне, как всегда, хорошо: я их не очень обременяю. Может быть, потому, что мне все кажется: сюда их отбирают по анкетным данным вне зависимости от того, как они владеют профессией.

Навстречу нам шла пара — среднего роста женщина, рыжая, вся в веснушках, и мужчина ниже ее на голову, покрытый ровным загаром, с черными как смоль волосами, блестящими, будто смазанные бриолином, в такой же блестящей ярко-голубой пижаме.

— Светлана! — воскликнула Ф. Г. — А я опять с другим мужчиной! Конец моей репутации! Что вы теперь скажете?!

Мы поздоровались.

— Как, вы и Светлану Иосифовну знаете?! — воскликнула снова Ф. Г. — Это невероятно! Это закончится тем, что я, широко раскрыв рот, застыну навсегда в такой позе!

И Ф. Г. изобразила нечто, выражающее ее крайнее удивление, и так, что захохотали все, особенно спутник Светланы

Иосифовны.

— Господин… — представила она его мне, но я тут же забыл сложное имя и понял только, что господин в голубой пижаме — из Индии и по-русски почти не понимает.

Все прошли к скамейке неподалеку, и я снова подумал, насколько дочь Сталина ничем не напоминает своего отца. Ситцевое платье в василечках, матерчатые туфли на низком каблуке, зеленая вязаная лента в волосах, дымчатые очки и никаких украшений — ни колец, ни серег, ни браслетов. Но главное, конечно, лицо: сколько ни старайся, портретного сходства не обнаружишь и через минуту забываешь, что она дочь «отца всех народов».

— Вы давно были в институте? — спросила она. (Речь шла об Институте мировой литературы, где Светлана Иосифовна в то время работала и где нас познакомили.) — Вы что-то делаете для Александра Григорьевича?

Я рассказал, как безумно медленно продвигается «История мировой литературы» и моя статья о Зощенко для второго тома.

— Нет, вы объясните мне, Светлана, — вступила Ф. Г., - как человек, который в глаза не видел Зощенко, может писать о нем? Совершенно не понимаю этого! Ну, может быть, хотя бы отыскать его родных или тех, кто хорошо знал его?! По-моему, иначе просто недопустимо!

Светлана Иосифовна, не отвечая Ф. Г., переводила ее страстную речь индусу. Тот сначала улыбался, а потом рассмеялся и начал говорить.

— Что он? — спросила Ф. Г. в нетерпении.

— Он сказал, — ответила Светлана Иосифовна, — что об индийской эпической поэме «Махабхарата» написаны сотни статей и книг, хотя никто из писавших не видел ни ее автора, ни Будды…

— Когда я вернулась из эвакуации в Москву — это сорок четвертый год, кажется осень, — я вдруг смертельно испугалась: давно не выходила на сцену, потеряла профессию, ничего не смогу делать. Мне даже показалось, что у меня началась клаустрофобия: не могла сидеть в четырех стенах, бродила бесцельно по улицам. И думала: «Этот город теперь не примет меня».

И вдруг на Моховой, возле университета, девушка, рыженькая, без шапки, в изящном пальто с иголочки, талия — рюмочка: «Фаина Григорьевна, дорогая, здравствуйте!». Я стою, ничего не понимая. «Я — Светлана, — продолжает рюмочка, — вы меня не помните?». Я тут же вспоминаю и Кремль, и «Гибель эскадры», и девочку в первом ряду рядом с усатым отцом — ее

приводили в антракте за кулисы, и страх мой мгновенно улетучивается. Мне становится стыдно своего потрепанного демисезона, который я не снимала всю войну, я стараюсь спрятать левый рукав за спину — на его обшлаге наметилась бахрома, вспоминаю, что и сегодня утром не садилась к зеркалу и даже не намазала губы. И мелю такую чепуху, что Светлана смеется, записывает мой адрес, а на следующий день привозит мне коробку американской косметики и — не поверите — огромную каракулевую шубу, роскошную, сносу ей нет, она до сих пор как новая, — вы ее видели, я ее в прошлом году сдала в ломбард-холодильник на Петровке — сидела без денег.

Года через два-три после прогулки в Кунцеве Би-Би-Си, «Голос Америки» и «Свобода» много рассказывали об эпопее Светланы Сталиной. С Ф. Г. мы обсуждали и внезапную смерть Светланиного мужа-индийца, и разрешение, что дал ей Косыгин, к которому она ходила на прием, — поехать в Индию и на берегу Ганга развеять по ветру прах мужа, как завещал он, и сложный путь, благодаря которому ей удалось избавиться от преследования сотрудников советского посольства и, исколесив на такси Дели, оказаться у британского посольства, предоставившего Светлане Иосифовне политическое убежище и сумевшего тайком вывезти ее в Лондон.

Светлана Иосифовна — дочь Сталина

— Нет, вы не представляете, что это такое! — восхищенно говорила Ф. Г. — Подумайте только, дочь Сталина покидает тайком государство, созданное ее отцом, бежит из него и просит политического убежища на Западе, который ее отец столько раз предавал анафеме! «Она выбрала свободу!» — трубит весь мир. Выбрала свободу, покинув СССР, «где так вольно дышит человек»! Вбить такой осиновый кол в могилу отца! — Ф. Г. с подозрением взглянула на меня: — Кому вбивают осиновый кол, знаете?

— Знаю-знаю, — засмеялся я, — фильмы ужасов в Доме кино видели!

— Вам кажется смешным, когда вбивают осиновый кол в гроб

вампира? Странно! — Ф. Г. оставалась серьезной. — Вбивают, чтобы он никогда не встал. И если Светлане удалось сделать это же, тогда она совершила подвиг...

Через несколько месяцев в гости к Ф. Г. зашла Наташа Богословская, жена композитора, и с большим воодушевлением рассказала, что она только что дочитала новую книгу Светланы Сталиной, которую Никите Владимировичу чудом удалось провезти через нашу границу.

— Как вам нравится это очередное «чудо»? — сказала мне Ф. Г. в тот же вечер, когда мы остались одни. — Он провозит все: и пластинки Монтана, которого у нас уже запретили, и «Доктора Живаго», и все, что выходит на Западе. За один «Континент» посадить могут, а Никита сам рассказывает о своем «чуде», может предложить прочитать нелегальщину, и ему все обходится. Удивительно ведь, не правда ли?..

Но вернусь к разговору с супругой Никиты Владимировича.

— В этой книге, между прочим, — сказала Наташа, — и вам, Фаина Григорьевна, посвящено несколько страниц. Вы фигурируете под именем Фанни Невская.

— Я слыхала. Но что она пишет? Ничего компрометирующего?

— В общем, нет. Пишет, что вы — самостоятельный человек, что многие опасаются ваших острых оценок, да вот еще о том, что вы обозвали известную журналистку, Татьяну Тэсс, наверное.

— Как я обозвала? — осторожно спросила Ф. Г.

— Вы ей сказали: «Ты — сука!»

— Так и напечатано? — изумилась Ф. Г.

— Так и напечатано! — Раскрасневшаяся Наташа удовлетворенно улыбалась.

— Но ведь это неправда. Я никогда не была с Таней на «ты». Я могла ей сказать и действительно много раз говорила: «Таня — вы сука», но «ты» — никогда!

Наташа всплеснула руками и рассмеялась:

— Фаина Григорьевна! Вы — чудо! Но кто позволил Светлане приподнимать занавес над жизнью чужих людей, еще живых, между прочим!

— А мертвых, вы думаете, можно? — спросила Ф. Г., но Наташа только пожала плечами. — И все-таки Светлана соблюдает известный такт и осторожность. Согласитесь с этим. — Ф. Г. с опаской посмотрела на Наташу. — Я ведь знала ее. Она не была счастлива — ни при жизни отца, ни после его смерти. Дети у нее — удивительные. Любят ее без памяти, и она их так же. Вон, то блюдо на окне, керамическое, посмотрите. Видите? Его принесли мне дети Светланы. Ранней-ранней весной пришли ко

мне и принесли мне его, до краев полное фиалок. И благодарили за «Золушку», за «Слона и веревочку», за «Подкидыша». Просили показать, как я умею прыгать через скакалку. И мы пили вместе чай с пирожными, к сожалению, вчерашними.

— Но она же бросила их, — сказала решительно Наташа.

— Да, конечно, вы правы. Но они давно уже выросли, — Ф. Г. снова внимательно взглянула на Наташу и вдруг сказала: — Если бы я встретила ее сейчас, я бы не подала ей руки. Но все же, — Ф. Г. искала слова, — она, наверное, находилась не в своем уме, когда это сделала. Думаю, здесь все очень непросто. И беда случилась оттого, что Светлана многого не знала. В этом ведь тоже трагедия. Всю жизнь она провела в особых условиях. Знала ли она страну, людей? Потом — разоблачение отца. Это ведь тоже пережить надо. А она знала его окружение, видела этих пресмыкающихся. И разоблачители — тоже из них. Поверьте, ей было очень трудно. А другая жизнь оставалась неизвестной. Это ведь очень страшно, когда вокруг только подлость и предательство. И ничего больше.

В Крыму, в Гражданскую войну, я видела на Севастопольском рейде корабли всех государств, входящих в Антанту. Для меня поход Антанты сразу перестал быть абстрактным понятием. Ну не случайно же Тютчев сказал:

Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые.
Его призвали всеблагие
Как собеседника на пир.

Может, в этом призыве тоже наша судьба? Или «знать» и «понимать» стало одним и тем же?

В нашем «Красном театре» заболела тогда туберкулезом одна актриса. Мы все почти голодали, и ее нужно было спасать. Я пошла к комиссару просить для больной хотя бы один паек.

— Подождать! — сказал мне часовой в коридоре. Потом пустил в накуренную комнату. За столом сидел человек с тонким, интеллигентным лицом, в кожаной куртке, на которую были нашиты красные застежки, знаете, как у стрельцов петровских времен. Он сидел с закрытыми глазами.

— Говорите, что у вас? — сказал он, не размыкая век. Я начала горячо рассказывать, но остановилась:

— Вы не слушаете меня: вы даже не открываете глаз.

— Дорогая, я не спал несколько недель, говорите, я все слышу. — Он поднял веки, взглянул на меня, и я ахнула: у него были кровавые белки.

Понимаете, для того чтобы дойти до такого, надо действительно верить, что ты строишь новую жизнь, что ты «живешь для лучшего». И хоть это слова великого утешителя Луки, они же утешили мою Настю. Да, и бульварные романы, но и слова эти тоже. Я же, когда играла, это чувствовала и понимала.

— Ну, Фаина Григорьевна, — сказала, наконец, Наташа, — согласитесь, что театр и жизнь — не одно и то же.

— Но я все думаю, как сделать, чтобы ни одно поколение не оставалось, как Светлана, без знания истории, без знания того, какой ценой досталось стране то, что молодежь получает готовеньким. Ведь есть же, наверное, средство, которое должно убедить людей, что ничто и никогда не проходит бесследно, и если в революцию люди проливали кровь, то и это было нужно.

И вдруг без паузы попросила Наташу:

— Голубушка, а мне самой никак нельзя прочитать книжку Светланы?

— Конечно, — улыбнулась Наташа, — как только она освободится.

— Надеюсь, я не рискую своей жизнью? — Ф. Г. снова стала ироничной.

Агитационный плакат времен Гражданской войны

— Оставьте, Фаина Григорьевна, — успокоила Наташа, — кто об этом узнает?!

— Три человека уже знают наверняка: вы, Глеб и я. Рассчитывать на вашу порядочность я еще могу, на свою — не очень!

— Что это вы изображали из себя революционерку? — спросил я Ф. Г, когда мы сели пить чай уже вдвоем.

Она пропустила мой сарказм мимо ушей и попросила:

— Дайте даме варенье. Не это, а мое, на ксилите, — и стала накладывать ягоды в розетку, а потом спокойно сказала: — Если человек туп, не надо это так часто демонстрировать. Но вам-то я

уже не раз говорила: не родись я актрисой, стала бы только историком. И могу без конца повторять: знай люди историю своей страны, понимай ее они, можно было бы предотвратить тысячи ошибок.

— А Светланину книгу вы мне почитать дадите? — спросил я.

— Конечно, но только не вынося ее из моего дома. Я хоть и революционерка, но распространение нелегальной литературы считаю занятием уже не по возрасту.

РАЗНОЕ ВОСПРИЯТИЕ

— Я был у Чуковского, в Переделкине, — сообщил я Ф. Г.

— Что, вышло новое, 225-е издание «Мухи-цокотухи», и Корней Иванович захотел оповестить об этом белый свет?!

— Нет, нет! Совсем другое: я записывал его для «Библиотеки новинок советской литературы».

— И новинкой стал еще один выпуск его бесконечных букашек и таракашек! — не унималась Ф. Г., смеясь. И вдруг серьезно: — Объясните мне, почему я так ненавижу всех этих ползающих по его книгам насекомых? И эту муху с золотым брюхом, и комарика, который держит в руках фонарик, чтобы вернее впиться в вашу шею, и тараканище, и прочую мерзость, которая у него, как у этой отроду не мывшейся Федоры, ликует, пьет и жрет? Не говорите мне ничего! Все равно нечистоплотность, которая прет со страниц его «детских» книг, никуда не денется!

— Как странно, — удивился я. — С детства никогда не воспринимал этих букашек иначе, чем сказочных героев. И когда мама мне наизусть читала: «И вдруг распахнулися двери — в дверях показалися звери», я знал, что все будет хорошо и вот это — «оглянулся крокодил и беднягу проглотил, проглотил с сапогами и шашкою» — вызывало только смех и радость.

— У нас с вами разное восприятие, — отрезала Ф. Г — О чем можно говорить, если вы радуетесь, когда зверюга проглотила человека прямо на улице, а на каждой странице рубят головы и мочалка, как волчица, кусает ребенка. Я знаю, что дети очень жестоки, но никогда не замечала у вас склонности к садизму, который Чуковский выставляет напоказ.

— Вы неправы, — начал было я, но Ф. Г. прервала меня:

— Оставим это. Расскажите лучше, какую мудрость поведал вам этот душевед от двух до пяти?

— Однако как вы отлично знаете творчество Чуковского! — не удержался я.

— Я, как и все живущие на земле, знаю больше всего такое, что знать вовсе не обязательно…

Я рассказал Ф. Г. о поразившем меня совете Корнея Ивановича. В тот день, когда я приехал к нему, в «Литературке» напечатали ругательную статью о рассказах Шукшина, и я спросил Чуковского его мнение о ней.

— Голубчик, вы читаете газеты?! — воскликнул Корней Иванович. — Немедленно оставьте это пустое занятие! Посмотрите, — он указал на полки, с потолка до пола

уставленные книгами в его кабинете, — поверьте, здесь собрана далеко не худшая литература, а на мой вкус, даже лучшая! И сколько из этого вы не читали? Вам же не хватит на это жизни, если вы будете тратить время на «Литературку» и другие газеты! Разве можно так растрачивать себя!

— Но ведь нельзя жить, не зная новостей, — возразил я.

— Ежедневно пять минут на новости по «Маяку»! И ни минуты больше!

— Старик стал мудрым, — заметила Ф. Г. — А что он вам читал?

— Главу из своей книги о Некрасове. Очень интересную.

— Верю. Но почему мы с ним так не совпадаем?! Он захлебывается от восторга, рассказывая о Некрасове, а меня Некрасов не волнует. Не мой поэт. И вообще: связались вы с этими «новинками», зачем они, когда есть Пушкин! Неисчерпаемый. Вы знаете, что мне сказала однажды Анна Андреевна. Она спросила, кого бы я могла назвать предшественником Чацкого? Я растерялась. «Ну, как же, Фаиныш, неужели не ясно? Только Евгений Онегин! Не могу понять, почему не замечают это!». А вы небось читаете в своей «библиотеке» Софронова, старого пошляка, который даже в названии не смог обойтись без пошлости? «Старым казачьим способом» — это же самопародия чистой воды! Пушкина надо читать, и только Пушкина!

— А на остальное пять минут утром по «Маяку»? Вы же сами восхищались рассказами Шукшина!

— Не восхищалась, а хвалила их. Кстати, за что их покрыла «Литературка»?

А.С. Пушкин был непререкаемым авторитетом для Фаины Раневской.

Портрет работы Ореста Кипренского

Я рассказал об очередном бредовом наскоке критики на Шукшина: «мелкотравчатость», «отрыв от задач современности» и пр. и пр.

— А вы что записывали? — спросила Ф. Г.

— Две главы из «Любавиных» — рукопись мне дали в «Дружбе народов». Читал Василий Макарович. Очень хорошо. Только жена его нервировала. Она сидела в коридоре — я ей выписал сдуру пропуск. «Ты что тут делаешь?» — накинулся на нее Шукшин. А она мне потом сказала: «Я должна не дать ему уйти в ЦДЛ — ресторан там с утра работает». Надо же так следить за каждым шагом мужа!

— Вы понимаете, что говорите?! — взорвалась вдруг Ф. Г. — Терпеть не могу эту «мужскую солидарность»! А если человек сопьется, будете произносить траурные речи? Откуда такое

легкомыслие?! Или я слишком долго живу на свете? Но неужели вы не знаете, чем это кончается? Какой талант был у Олеши — чудо просто! Юрий Карлович, верх джентльменства, элегантности и изящества! И что стало?! А Валентин Стенич! Мы познакомились в Ленинграде. Прекрасный поэт, легкий, воздушный, знал в совершенстве английский, французский. Да вы его знаете — Утесов пел его песню про американского солдата — еще до войны. Стенич навеселе порхал по Невскому, сыпал анекдоты, вскоре сел и исчез бесследно. Варианты могут быть разные, источник — один. «Любавиных» через несколько дней я принес Ф. Г. по ее просьбе. Она неожиданно быстро вернула мне, — Это значительно слабее рассказов. Не знаю, в чем тут дело. Что, еще один образец для моей нравоучительности? Тогда я разонравлюсь сама себе…

ИЛЬИНСКИЙ КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Что, решили Ильинского прочитать? — удивилась Ф. Г., увидев у меня его книгу «Сам о себе», не раз ею обруганную. — Или зачесалось проверить справедливость моей критики?! Не выйдет — кишка тонка! — И сама рассмеялась: — Как вы думаете, какую именно кишку имел в виду русский народ?

— Мне кажется, что вы несправедливы к этой книге, — сказал я.

— Но, голубчик, назвать свою книгу «Сам о себе» — просто нахальство! Ячество! — было такое нескладное слово еще до вашего рождения. «Сам о себе»! И встать в позу: ноги циркулем, животик вперед, нос кверху и правую руку задрать! Неужели не ясно?

— Но Ильинский в этой книге не хвастает, — настаивал я на своем, — он рассказывает такое, что другой о себе говорить бы не стал.

— Например?

— Ну, вот это признание, — я открыл страницу, куда заранее положил закладку. — «Оглядываясь назад, я должен сказать, что я, пожалуй, не отличался скромностью и преувеличивал степень моего мастерства. Я был о самом себе высокого мнения». Вот как!

— Готовились? Еще что-нибудь там отметили? Уголочки не загибали? Сколько я вас ни учу, а вы решили спорить с мудрой старой женщиной! Но если вы не замечаете, что говорить самому о степени своего мастерства по крайней мере нескромно, то как тут спорить?! Это в ВТО однажды затащили меня в зал, а там на сцену вышла актриса, народная-пренародная, трижды лауреатная, с двумя десятками орденов, которые она не надела только потому, что пожалела кружева, да вы знаете ее — вечную Анну Каренину, и начала доверительным тоном: «Мое творчество сложилось под влиянием великого Константина...». Я пробкой вылетела из зала! Ну, разве можно слушать, как человек называет свою работу «творчеством»?! Ну, представьте, я вылезла бы на сцену и сказала: «Мое искусство, товарищи, которое сейчас я вам...».

— А Станиславский?

— Что — Станиславский? Он назвал свою книгу «Моя жизнь в искусстве», а не «Мое искусство в жизни». И я же просила вас оставить эти булгаковские оценки — они из другой оперы! Смеетесь? Думаете, Михал Афанасьич был бы рад вашему смеху? Вот Сережа Образцов на своем творческом вечере берет в одну руку шикарную тростевую куклу, кажется, из Ливана или Индии,

а на другую надевает шарик, деревянный, чистенький, гладкий, надевает на один палец, и доказывает, что эти куклы существовать рядом, общаться не могут: у них разная степень условности! Так же и булгаковский Станиславский из «Театрального романа» не смог бы заговорить с Константином Сергеевичем, работающим в Художественном: они находятся в разных измерениях.

Надеюсь, я не очень сложно выражаюсь? Аудитории понятно? — закончила Ф. Г. тоном профессора.

— Ильинский, — продолжала она, закурив, — еще одно доказательство, что я правильно не пишу о себе книгу. Что, идти, как он, от роли к роли, восхищаться пьесами, драматургами, режиссерами, театрами, наконец? Кому это нужно?! Я напишу: «Блистательный артист Певцов», а кто его видел, кто помнит, почему люди должны верить мне? Или я сделаю все наоборот — начну рассказывать о том, о чем в мемуарах говорить не принято.

Вспомню, например, как в тринадцатом годе у меня был любовник гусар-кавалерист. Когда мы остались вдвоем, я уже лежу, он разделся, подошел ко мне, и я вскрикнула:

— Ой, какой огромный!

А он довольно улыбнулся и, покачав в воздухе своим достоинством, гордо сказал:

— Овсом кормлю!

Я стал смеяться, и Ф. Г. вслед за мной. Сквозь смех она спросила:

— Ну что, такое можно? Кто это напечатает? Да я сама сгорела бы со стыда, увидев такое в книге!.. — И после паузы добавила: — Ив очередной раз проявила бы лицемерие!.. Почему у нас не пишут о том, о чем говорить не принято? Ну, напиши я, как во время войны, еще той, Первой, оказалась в Большом театре рядом с Верой Холодной, такой красавицей — глаз не оторвать. Ну, если на экране она хороша, то в жизни была вдвое, в десять раз прекраснее. Не помню, как я нашла в себе силы тут же не броситься целовать ее! Понимаю, кто-то найдет это забавным, кто-то решит, что мемуаристка сошла с ума, но писать об этом, наверное, просто не надо.

В роли Мурашкиной в коротрометражке «Драма». 1960 г.

Вот и ваш Ильинский делал свою книгу с постоянной оглядкой. Ну почему он ничего не написал про свою первую жену — я знала ее. Да ее знала вся Москва, наверное. Считали ее тенью Ильинского, кто-то думал, что она немного того, — Ф. Г. повертела пальцем у виска. — А она была превосходной, очень умной и высокообразованной женщиной. Весь классический репертуар, что читал Игорь Владимирович с эстрады, — от нее.

Он встретил ее еще мальчишкой — ну, двадцати лет ему не было. Таня Бирюкова работала у того же Мейерхольда, куда пришел он. Любовь, они расписались — тогда это можно было сделать через пять минут после первой встречи — и, кажется, были счастливы. Но Татьяна повторила ошибку, что делают многие: относилась к мужу как к своей собственности. Считала, что этой собственностью она вправе распоряжаться, контролировать каждый его шаг. В общем, это не тот случай, когда любящий готов целиком отдать себя любимому, ничего не требуя взамен. Таня бросила театр, чтобы Игорь был постоянно рядом, — ездила с ним на все съемки, на гастроли мейерхольдовской труппы и в поездки по городам, когда Ильинский начал читать в концертах прозу.

А вы знаете, что до революции эстрада не знала этого? Выступали чтецы-декламаторы со стихами Апухтина, рассказчики с анекдотами или юморесками Горбунова и Аверченко, но с «Крейцеровой сонатой» Толстого — никто и никогда. Актеры с издевкой называли мастеров художественного чтения «умельцами

читать книги вслух».

Так вот Танюша на каждом концерте садилась в первый ряд или в кулису, поближе к Игорю, и — очень трогательно — следила, а вдруг он запнется или забудет рассказ. Весь его репертуар она знала наизусть.

Конечно, ему было нелегко: от такой ежеминутной опеки с ума сойти можно. И он часто раздражался, находил способы улизнуть от нее, на несколько дней пропадал с другой женщиной. И не раз. А она ходила по городу с огромными глазами, высматривая его.

Они прожили вместе лет тридцать. Детей не было — она сказала: «Кроме тебя, мне никто не нужен!». А он не мог смириться с ее контролем. И вот вам парадокс: ему стукнуло, кажется, пятьдесят, когда она умерла, и он вдруг понял, что и его жизнь кончилась.

Мне рассказали: он ушел из театра и решил покончить с собой. Стал спокойно, абсолютно спокойно готовиться к этому. Купил снотворные таблетки, не одну пачку, баллон с усыпляющим газом. Спасла его только другая женщина.

Я понимаю, ничего нового в этой истории нет и число подобных — легион. Но если такое случилось с тобой, а ты — артист, и душа человека — предмет твоей работы, так расскажи об этом, попытайся разобраться в нем. Вот тут как раз и было бы — «сам о себе».

ТОСТ АЛЕКСЕЯ ТОЛСТОГО

— Я была в гостях у Толстого, на его даче, — вспомнила Ф. Г. — Не так давно. Еще шла война, мы только вернулись из эвакуации, в Москве голодно, по карточкам хлеб, мясо, крупа и спички, а тут такой стол, будто за окном мир и изобилие. После обильных закусок — чанахи из баранины, котлеты де-воляй, телячьи почки каждому на маленькой сковородочке — пальчики оближешь.

Алексей Николаевич поднял бокал: — Хочу выпить за терпкий талант Раневской!

Потом, когда уже встали из-за стола и он закурил трубку, я подошла к нему:

— Алексей Николаевич, меня тронули ваше внимание и ваша оценка. Я только не поняла, почему «терпкий»?

— Есть такой обладатель терпкого запаха скипидара — терпентин, — объяснил он. — От него долго нельзя избавиться. После «Мечты» ваша старуха ходила за мной по пятам. Выйду в сад к цветам — она передо мной. Сяду за стол, чтобы писать, не могу — она, проклятая, рядом, наблюдает за каждым моим движением. Две недели меня преследовала, еле избавился. Вот сейчас вспомнил — и она снова, как живая. Вы не актриса, вы актрисище.

— Вы, конечно, захотите вставить этот эпизод в книгу? — спросила Ф. Г. меня.

— Да, обязательно. Не каждому довелось встречаться с Толстым, да еще услыхать такие слова!

— Ну, и выставите меня хвастуньей, притом самовлюбленной. А я об этом, клянусь, никому никогда не рассказывала. Такая я, блядь, стеснительная. Поэтому лучше напишите, что слышали слова Толстого не от меня, а нашли их случайно в старой записной книжке Раневской. Она, мол, об этой книжке и думать забыла.

Алексея Николаевича Толстого восхищала игра Раневской в фильме «Мечта»

— Маскировка номер два! — засмеялся я.

— О чем вы?

— В детстве я смотрел фильм «Подводная лодка Т-9». Она охотилась за вражеским кораблем и не могла поймать его — он ловко менял свой облик. «Маскировка номер два!» — командовал капитан, и рыбацкое судно превращалось в комфортный пассажирский лайнер!

— Можете еще добавить, — Ф. Г. оставила мое воспоминание в стороне, — в той же записной книжке Раневская написала: «После спектакля «Игрок» ко мне в уборную постучала Марецкая.

— Вера, ну как? — кинулась я к ней.

— Глыба вы, глыба! — сказала она».

С записной книжкой, по-моему, будет приличнее. Но чтобы вы в глазах читателей не выглядели гангстером, что шарит по моим шкафам и столам, лучше напишите так: вы случайно наткнулись на эти записи в моей гримуборной и спросили, почему они лежат здесь, а я ответила:

— Я перечитываю их каждый раз, когда иду на сцену, чтобы не терять веру в себя.

Так будет лучше? Или, может быть, вам вообще не писать об этом? Что-то здесь не то…

Я часто бывал в архиве — собирал материалы по кинокомедии: читал сценарии, протоколы обсуждений,

редакторские рецензии и т. д. И каждый раз, когда мы встречались, первый вопрос Ф. Г. был один и тот:

— Что нового в старых архивах?

Я рассказывал. Ф. Г. слушала, задавала вопросы, удивлялась, как архивариусы умеют предусмотрительно сохранять мелочи, по которым неожиданно, через десятки лет, можно узнать эпоху. Однажды я рассказал о том, как случайно в невзрачной, тонкой папке с канцелярским заголовком «Веселые ребята. Заключение по просмотру» удалось обнаружить беседу Горького о первой советской музыкальной комедии.

Материал этот оказался новым и очень интересным. Как выяснилось, он остался неизвестен даже горьковедам — в скрупулезно собранных документах, в библиографических списках «Горький и кино», в многотомной «Летописи жизни и творчества А. М. Горького», где зафиксирован, кажется, каждый его шаг, о просмотре «Веселых ребят» нет ни слова. Просмотр же этот был интересен тем, что Горький, оценивая фильм, говорил не только о новой работе Г. В. Александрова, игре актеров, в частности Л. П. Орловой, но и о путях развития советской кинокомедии, защищал право на эксперимент в этой области, доказывал необходимость выпуска на экраны бодрых, веселых, занимательных фильмов.

— Это безумно интересно! — говорила Ф. Г. — И вот ведь чудо: сколько прошло лет с тех пор? Почти сорок? И вдруг — новое, никому не известное! Я завидую вам. С каким удовольствием я возилась бы со старыми рукописями и документами, разбирала бы их и лелеяла! А как точно сказал Горький — «нудьга»! — вспомнила она горьковскую оценку некоторых фильмов. — Это настоящее, «его» слово — «нудьга»!

Как-то (это был один из вечеров, посвященных архивам) я рассказал Ф. Г. о том, как в 1946 году художественный совет Министерства кинематографии обсуждал материалы «Весны» и какие дебаты разгорелись по поводу отснятых уже эпизодов с ее Маргаритой Львовной и Бубенцовым-Пляттом — единственными сатирическими персонажами этого фильма.

Открывая обсуждение, председатель совета И. Большаков заявил:

— Эпизоды с Раневской — я не знаю, зачем это нужно?

Первым вступил в спор с председателем М. Ромм, который, в целом невысоко оценивая кинокомедию, сказал, что «Раневская — великолепна». И. Пырьев, поддержавший, как пишут в протоколах, предыдущего оратора, вызвал своим выступлением председательское недовольство.

«*Пырьев*. Мне нравится тот материал и куски, где играют

Раневская и Плятт.

Большаков (с места). Нужно, чтобы не актер нравился, а содержание!

Пырьев. Раневская — это смех! Очень интересный образ».

К счастью для зрителя, на этот раз мнение председателя не явилось решающим.

Мы говорили с Ф. Г. о том, что когда-нибудь будет написана история кино, а может быть, искусства, содержащая анализ не только самих произведений, но и событий, которые их породили, споров, которые они вызвали. Без этих сопутствующих фактов ничего по-настоящему не поймешь. Тем более что зачастую обсуждение частного вопроса, конкретной работы влияло на все развитие искусства.

— Жаль, что я не увижу такой книги, — сказала Ф. Г. — Мне вообще осталось жизни сорок пять минут. Ладно, ладно, — остановила она меня, — я не собираюсь развивать эту тему, тем более что это ничего не меняет. Просто хочу напомнить вам о моей просьбе: давайте разберем мой архив. В этих футлярах и папках уже скопилось немало чепухи, от которой надо избавиться: какие-то газетные вырезки, записки, никому не нужные старые афиши. Надо пересмотреть все письма — может быть, там есть что-либо интересное для того архива, где вы бываете, — ЦГАЛИ он называется?

Фаина Раневская и Ростислав Плятт в сцене из спектакля «Дальше — тишина»

НОВИНКИ ИЗ АРХИВА

Я был против уничтожения «чепухи». Но чтобы не вступать в давний спор, мы условились на первый раз разобрать папки и хоть немного систематизировать все хранящееся в них.

На следующий день приступили к работе. Рецензии из газет, напечатанные уже забытым, несегодняшним шрифтом; отлично сохранившиеся, будто только от фотографа, снимки — молодые А. Ходурский, Л. Зеркалова и Ф. Г. в старомодных шляпах тридцатых годов у Казанского вокзала перед гастрольной поездкой на очень популярный тогда Дальний Восток; инсценировка чеховской «Драмы»; программки премьерных спектаклей, испещренные автографами режиссеров.

И тексты старых ролей. Переписанные в тонкие тетрадки, большие альбомы или на отдельные листочки, скрепленные суровой ниткой, они вызывают сегодня странное ощущение. Знакомые фразы, подчеркнутое карандашом реплики партнеров — все безжизненно, как за кулисами кукольного театра, когда спектакль сыгран, актеры разошлись, и куклы, только что жившие на сцене, лежат, задрав носы.

Вероятно, Ф. Г. стало не по себе. Она извлекла из кипы бумаг блокнот, похоже, узнанный «в лицо»:

— Это мой «самиздат». Не удивляйтесь, здесь стихи Саши Черного. Переписала их у приятельницы в ее коммуналке еще в 30-х годах, среди ночи, вздрагивая от стуков и шагов в коридоре. Вам не понять этого. Саша Черный — эмигрант, что приравнивалось к «врагу народа». Книги писателей-эмигрантов из всех библиотек изъяли и сожгли. В отличие от Германии — тайком. Хранить их дома стало так же рискованно, как сочинения Троцкого.

Один наш актер чудом избежал ареста. Соседи донесли, что он слушал пластинки эмигранта Шаляпина! Спасло его только то, что он готовился к роли следователя в спектакле «Очная ставка» и, как объяснил на Лубянке, учился распознавать в шаляпинском голосе интонации врага.

Это совсем не смешно. Вы не знаете, в те годы запустили еще одно понятие — «внутренний эмигрант». Оно нагоняло страх, хотя бы потому, что никто не понимал, что это такое.

Я переписала тогда Сашу Черного в блокнот и даже читала подругам его гениальную повесть в стихах «Любовь не картошка». Могу и сейчас сделать это:

Арон Фарфурник застукал наследницу дочку

С голодранцем студентом Эпштейном:
Они целовались! Под сливой у старых качелей.
Арон, выгоняя Эпштейна, измял ему страшно сорочку,
Дочку запер в кладовку и долго сопел над бассейном…

Читала, наслаждаясь точным стихом Черного. Вот вам еще одна странность актерства. Ради хорошей роли можно презреть опасность.

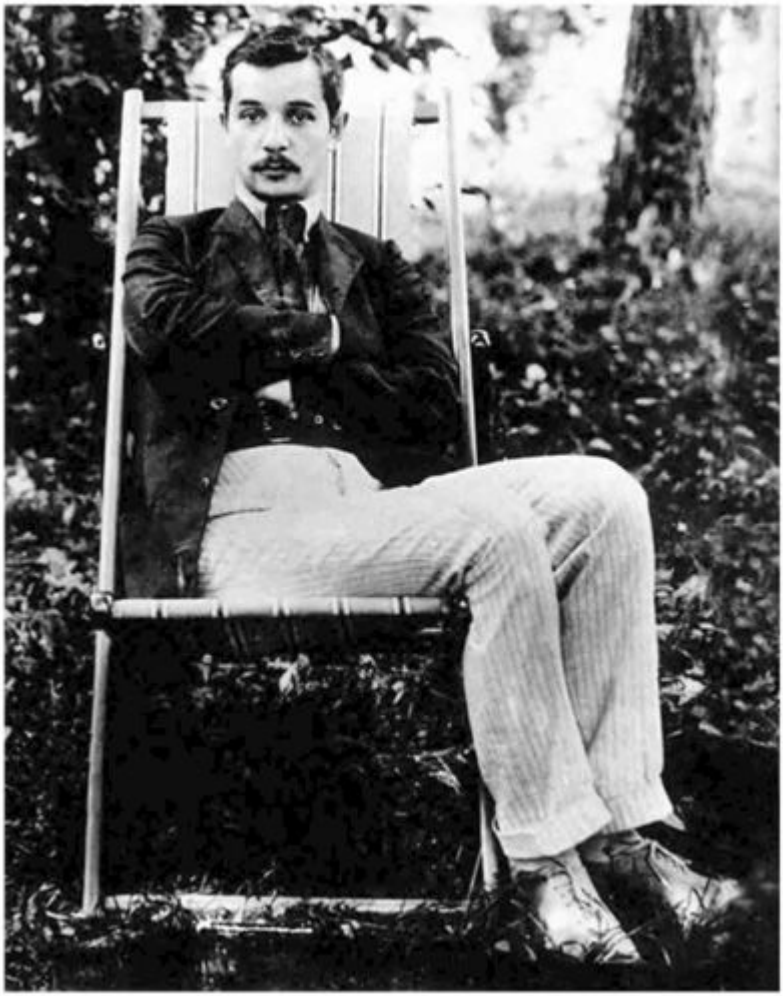
Нет, нет. Тут не было никакого вызова строю, власти, той же Лубянке. Только актерская страсть к материалу, который дает тебе возможность раскрыться по-новому. И вы не поверите, когда я играла Иду в «Ошибке инженера Кочина» (ничего подобного я в кино до тех пор не делала), Петкер, мой муж по фильму, шепнул мне в перерыве:

— Фаина, вы поразительно убедительны. Ну, скажите, кого подкладываете под роль? Вашу знакомую?

— Сашу Черного и его Арона Фарфурника. Они мне дали и интонацию, и характер, — призналась я. Перебирая бумаги, Ф. Г. оживилась:

— А вот здесь целая пьеса и… (взгляд ее задержался на конверте), смотрите, письмо от моей первой костюмерши Юли Катковой — чудесной души человек. Мы с нею работали еще до Евпатории, до Маргариты Каваллини — представляете, когда это было! А письмо сравнительно недавнее — я получила его года два-три назад.

«Я так ярко себе представила далекую маленькую Керчь, где вы совсем юной приехали на гастроли в Зимний театр, где в тот далекий год 1916–1917 антрепренером была старая Лавровская, и я, тоже, будучи девчонкой, любя театр, но попасть туда не имея возможности, носила ваши коробки — тем более что вы и жили со мной рядом. Вы помните тот трехэтажный дом на Константиновской улице № 11, где вы жили у Серафимы Ивановны Пархоменко, и я, влюбленная в вас и ваш талант актрисы, следила за вами в течение пятидесяти лет. Я часто видела вас в кино и по телевизору… Желаю вам чистого сердца, которое живет вместе с вами в вашем таланте».



Поэт Саша Черный. Раневская восхищалась его точными образами…

СОЗДАНИЕ ШЕХТЕЛЯ

— Пойдемте в дом Горького, — сказала Ф. Г., когда мы вышли на Герцена, — это рядом. Вы там были? Можно сходить еще раз, а то я одна никогда туда не пойду.

Неплохо устроили великого пролетарского писателя, поселили его в особняке самого богатого в Москве человека — миллионера Рябушинского, — усмехнулась она возле роскошного сооружения Шехтеля, о котором не раз говорила с восторгом. — На мой вкус, здесь каждый сантиметр — произведение искусства!

Мы вошли в садик, окруженный высоким деревянным забором, через узкую калитку откуда-то сбоку.

— Шехтель, как вы догадываетесь, этой деревянной стены не проектировал — ею огородили «великого» от его народа, чтобы, не дай Бог, кто-нибудь не увидел, как живет основоположник социалистического реализма! — Ф. Г. вдруг остановилась и, взмахнув рукой, что называется, отрезала: — Все! Больше о политике ни слова! Мы уже так испорчены, что разучились просто наслаждаться искусством. Не хочу, не хочу больше знать ни кто здесь жил, ни кем был Шехтель. Вот есть создание архитектора, гения. И больше ничего. Ничего другого знать и не надо!

Мы молча глядели на дом, на майолику, которой были украшены его стены, на окна, каждое из которых не повторяло другое.

— Не странно ли, что русского художника так тянуло к экзотике? — заметила Ф. Г. — Смотрите, ни одного полевого цветочка. Только лилии, бегонии, ирисы, аспарагус и вот эти растения, что бывают в прудах. И все будто стекает. Окна, посмотрите, как растекаются — ни одного острого угла. И изгородь Шехтеля — ее с этой стороны видно — тоже такая же. В этом что-то было: или тяга к тому, чего вокруг нет, или ощущение неустойчивости жизни. Течет и течет — не остановишь…

Мы зашли в дом через узкий задний ход, предназначенный наверняка только для прислуги. Темный тамбур, закоулок с равнодушной дежурной — музей, к счастью, работал.

— Мы хотели бы купить билет!

— Не надо, — сказала она. — Вход бесплатный. Запишитесь в книге посетителей.

«Скабичевский», — написал я.

— Перестаньте хулиганить, — строго сказала Ф. Г. и вдруг улыбнулась: — Тогда я — Панаева! Панаевой я здесь никогда не была!

И только взяла ручку, как в комнатку влетела экскурсовод:

— Фаина Григорьевна, дорогая! Как мы счастливы, что вы пришли к нам! Проходите, проходите, пожалуйста. Не хотите ли чаю?

— Нет, нет, спасибо. Я не одна.

— Ну, пустяки: проходите вместе. — Экскурсовод расплывалась в улыбках.

— Как-нибудь в другой раз, — отказалась Ф. Г. — Сегодня мне хотелось бы посмотреть дом, просто, без пояснений.

— Понимаю, понимаю, — сказала экскурсовод прочувствованно, отступая. — Да вам они и не нужны, хотя и были вы здесь в последний раз в 1955 году. Не буду мешать вам.

— Все, суки, знают, — прошептала Ф. Г., когда улыбающаяся экскурсовод удалилась. — И смотреть уже расхотелось. Взгляните только на эту лестницу: другой такой нет. Эта волна, скатывающаяся со второго этажа, ее всплеск такой высокий, необычная лампа на его гребне, как выброшенная из пучины ракушка, — я сейчас заговорю стихами! — но кто увидит это хоть раз, запомнит навсегда.

Мы отстояли минуту молчания, Ф. Г. взяла меня за руку и повела в гостиную.

— Этот стол вам знаком и абажур тоже — на этой дурацкой картине, где Горький читает Сталину и подручным «Девушку и смерть», все изображено с доскональной точностью. Сколько раз мы сидели с Толстой за этим столом в гостях у Пешковой. И тепло всегда было, и сытно, и стол она вела, как самый опытный лоцман.

Здесь я видела Зощенко — это, кажется, был его последний приезд в Москву. Он любил меня и всегда встречал улыбкой. Чуть улыбнулся и в этот раз.

— Михал Михалыч, вы загорели! Отдыхали? — спросила я.

— Я давно уже не отдыхаю, дорогая, — грустно ответил он. — А цвет моего лица — результат отравления газами еще в ту войну. С годами оно сказывается, как я убеждаюсь, все сильнее.

Он ничего не ел, как мне потом сказала Пешкова, боялся отравиться. Только взглянув на его руки, я поняла, как он исхудал. Бокал с соком, что налила ему Тимоша, дрожал и стучал о зубы. Все делали вид, что не замечают этого.

А вот это окно видело страшную сцену, — Ф. Г. подошла к подоконнику, оперлась на него руками и как-то сразу сгорбилась. — Вот так здесь стоял Горький, когда его любимый сын Максим застал его в постели со своей женой, в ужасе скатился с лестницы, выскочил в сад и повалился на снег, рыдая. Без пальто, без пиджака — в одной рубахе. А Алексей Максимович стоял у окна, смотрел в сад, плакал и ничего не

видел. У Максима температура подскочила до сорока двух — спасти его не удалось.

Знаю, знаю. Горького вы не любите и даже отказались от моего подарка — Полного собрания его сочинений. Может быть, вы даже правы: перечитывать его не хочется. За исключением Самгина — это вещь гениальная, совершенно у нас не оцененная. Но я хотела сказать вам другое.

Мы прошли в кабинет Горького, а оттуда в его спальню.

— Вот лежал он здесь, одинокий, больной, научившийся врать, жить двойной жизнью, писать то, что от него ждали, называть Сталина локомотивом истории, восхвалять партию — и все для того, чтобы его отпустили, ведь Италия ему нужна была как воздух. Старик чувствовал, что умирает, а жить хотелось. Представляете, что он о себе мог думать и о властях тоже.

Особняк Рябушинского (ныне музей-квартира Горького), построенный по проекту Федора Шехтеля

Пешкова мне рассказала по большому секрету: когда Алексей Максимович скончался, здесь в столовой собралась комиссия по его литературному наследству. Крючкова, секретаря Горького, штатного кагэбэшника, к тому времени то ли убрали, то ли посадили, не помню, но там тоже ходила версия о врачах-убийцах, что заставляли пролетарского писателя делать гимнастику у открытой форточки, устраивали сквозняки и прочие диверсии. Так вот, комиссия, кажется, ее возглавлял Бялик, крупный горьковед, или Кирпотин, в общем, кто-то очень солидный, вдруг наткнулась на горьковские дневники. О

существовании их никто, кроме Пешковой, не знал. Открыли первую тетрадь, начали читать и прочли такое, что у читавшего язык отнялся, а все стали белее мела.

— Товарищи, — сказал дрожащий Бялик или Кирпотин, — единственное наше спасение: мы тетрадь не открывали, ничего не читали, а, увидев дневники, сразу решили звонить в органы — пусть они разберутся. Что и сделаем немедленно.

Так и сделали. И уцелели. А что с дневниками, до сих пор никто не знает.

«МЕЩАНЕ» В МОСКВЕ

Большой драматический привез в Москву «Мещан».

— Вы знаете эту пьесу? — спросила Ф. Г.

— С детства! В Малом я видел «Мещан» с Каюковым, Анненским, вашей знакомой — Ксенией Тарасовой и с потрясающей Зеркаловой — она играла вдову начальника тюрьмы. Ее сцена — концертный номер на «бис»! Зал хохотал и грохотал, я отбил себе ладони!

— Вы уже тогда изменяли мне с другой?! Вот и верь мужчинам! Вы же клялись, что влюбились в меня на «Подкидыше» раз и навсегда!

И как это не раз было с Ф. Г., настроение ее сразу переменилось.

— К Дарье я вас не ревную, — сказала она, тяжело вздохнув. — Вот вам еще одна странность жизни: мы вместе работали у Алексея Дмитриевича в Театре Красной Армии. Она подала заявление в Малый — ее приняли. Меня — нет. Почему — неизвестно. Мы не конкурентки, но тюремную вдову я могла бы сыграть и совсем по-другому. Я обожаю номера на «бис», от которых публика визжит и плачет! И потом, как приятно — сорвал аплодисмент, и весь вечер свободна!

Вы думаете, почему у теноров любимая партия — Ленский? Только опера началась, а ты уже через полчаса можешь идти на все четыре стороны. Мы с Верочкой — с Верой Холодной, надеюсь, эту фамилию вы слыхали? — ходили на всех «Онегиных» с Собиновым. Вера была страстная поклонница Леонида Витальевича, она вообще обожала оперу, сама неплохо пела и все мучилась, что с экрана нельзя — нет, не говорить! — а именно петь. И после каждой дуэли мы с ней стрелой вылетали из Большого — Леонида Витальевича ждал уже экипаж, мы минут двадцать топтались возле, а потом ехали с нашим кумиром в «Славянский базар» или в «Эрмитаж». Или еще куда-то, где был бильярд. Собинов и меня научил гонять шары…

На следующий день мы пошли в Центральный детский театр, на сцене которого ленинградцы давали «Мещан».

— Я здесь и «Пигмалион» с Зеркаловой видел — сразу после войны, — с гордостью сообщил я Ф. Г.

— Не выставляйтесь всезнайкой, — оборвала она меня. — В театры, которые меня отвергли, я не ходила и никогда не пойду.

Вокруг спектакля БДТ был настоящий ажиотаж. В газетах появилось уже немало рецензий, самых-самых положительных. За билетами, которые разошлись в два часа, устроили настоящую

битву. Толпа у входа, милицейский кордон и весь театральный бомонд в зале, — как говорится, спектакль обречен на успех еще до того, как он начался.

Первый акт. Минут через пятнадцать Ф. Г. начала ерзать, вздыхать, мы перекинулись взглядами раз-другой, и вдруг она наклонилась ко мне:

— Умоляю, не вертитесь! Вокруг — столько глаз. И Нателла где-то здесь. Мы под прицелом!..

В антракте включились в бесконечный прогулочный круг.

— Умоляю, улыбайтесь! — шептала Ф. Г — Что вы насупились, как будто только от дантиста. Вы довольны, вы довольны. И я тоже. Посмотрите на меня — я же уже превратилась в китайского болванчика: только и киваю головой! Но ведь улыбаюсь!.. Боже, как я влипла. Как вы это назвали — «ползучий реализм»? По-моему, что-то хуже. А когда эта превосходная Попова начала ловить моль — это такая уж находка!.. И никуда мы с вами не уйдем, и не надейтесь! Думаете, мне не хочется? Здравствуйте, Ангелина Иосифовна! — раскланялась она со Степановой. — У меня от скуки скулы сводило, а я улыбалась. Потому как народная и не хуже других! Ниночка уступила вам билет — у нее сердце кровью обливалось! Если бы она знала, как ей повезло!..

Одна из последних фотографий Фаины Георгиевны. 1980 г.

И дома, после спектакля, за ужином:

— Устаешь от пира лицемерия! Хотя я понимаю, что многим это может нравиться. И Лебедев, и Лавров, и та же Попова. Откуда столько моли в одном доме?! Но отчего такой успех? Ведь до этого были блистательные спектакли. Вспомните «Горе от ума!». А «Ревизора»! Магия имени Гоги сказалась сегодня? Но это для Нателлы Товстоногов — бог! А для остальных? И что он хотел сказать этими «Мещанами»? Что пролетарий — хам? Это известно. Что пить — плохо? И это не новость. Что дети в разладе с отцами? И об этом есть пьесы получше. И хоть вы не приняли мой великодушный дар — всего Горького, а смотришь «Мещан» и думаешь: задаром ты не нужен! Только умоляю: никому об этом

ни слова. И на меня никаких ссылок, даже в разговорах с вашими друзьями. «Жить в обществе и быть свободным от него — невозможно!». Знаете, кто это сказал?..

РИСУЕТ ЭЙЗЕНШТЕЙН

В тот раз, когда мы разбирали архивы и я достал с антресолей большой пакет, обернутый желтыми газетами и перетянутый крест-накрест шпагатом, Ф. Г. сказала:

— Шлюс! На сегодня довольно! Это я сама как-нибудь посмотрю. А сейчас немедленно в ванную — смойте пыль веков и сразу за стол! Сменим пищу духовную на яичницу с ветчиной. Приготовленную, между прочим, любящими руками! От этого, как известно, все делается вдвое вкуснее…

В следующую нашу встречу я увидел тот самый пакет уже развязанным и распотрошенным. Он лежал на диване — Ф. Г. оперлась на него ладонью.

— И что же там? — не скрывал я любопытства.

— Не торопитесь, — остановила меня она. — Сначала прочтите эти листочки — мои выписки. Жаль, я ленилась их делать, а то вот бы была книга — «Ф. Раневская. В мире мудрых мыслей». Расхватали бы ее, как горячие пирожки!

— Это все ваши? — Я рассматривал несколько исписанных страниц.

— Почему мои? — удивилась Ф. Г. — Вы что же, не видели ни одной книги — как там они называются, — «Умное слово», «Крылатые выражения», например? На обложке пишется только фамилия того, кто эти выражения и умные слова освежевал. Читайте! Только вслух, пожалуйста.

Я начал:

«Только с таких, как я, на страшном суде совести спросится. Но если есть страшный суд слова — на нем я чиста.

Марина Цветаева».

«Состояние творчества есть состояние наваждения».

Она же.

«Как усыпительна жизнь, как откровения бессонны!

Пастернак».

«Все знаменитые старухи народец противный. О, господи, не дай мне быть похожей на знаменитых старух с их идиотским тщеславием и важностью».

— А это кто? — спросил я. — Здесь нет подписи.

— Если нет подписи — я, — ответила Ф. Г. — Читайте дальше.

«Я ухожу по всем законам природы из жизни, так и не сыграв своей роли».

«Режиссеры меня не любили за мою инициативу — я платила им тем же».

«А в общем, как справедливо заметил Шекспир: фортуна — шлюха».

«Если правда может где-либо быть неправдоподобной, то именно на сцене, где все увеличивается — и люди, и предметы, и само время.

Коклен-старший».

«На сцене ничего не может быть чересчур, если это верно.

В. И. Немирович-Данченко».

— Ну, хватит, — прервала меня Ф. Г. — Мы не на сцене, и все хорошо в меру. А листочки оставьте себе: может быть, где-то в книге найдется им место.

Глаза Ф. Г. блестели и губы чуть подрагивали.

— Вы чем-то взволнованы? — спросил я. — Что-то случилось?

— Не надо лезть поперед батьки в пекло. Ничего не случилось. Просто в прошлый раз вы достали с антресолей альбом Эйзенштейна. Эти рисунки я никогда не показывала ни Павле Леонтьевне, ни Ирине — они бы пришли в ужас, и Ниночке, кажется, тоже, но уже по другой причине: она не удержалась бы и разболтала о них всем подружкам. Я с вами откровенна: несколько дней думала, показывать ли их вам. Решила показать, чтобы посоветоваться. Вот смотрите сами — я пока займусь собою.

Ф. Г. положила на стол большую папку, в которой лежали рисунки, и вышла в другую комнату. То, что она назвала альбомом, на самом деле было отдельными листами плотной бумаги, на каждом из которых Сергей Михайлович изобразил один или несколько сюжетов, как в комиксах, раскадровав их. Рисовал Эйзенштейн преимущественно синим карандашом, прибегая к красному для деталей.

Понимаю, что описывать рисунки, выполненные в шаржированной манере, не в стиле карикатуры, а скорее лубка, — занятие мало перспективное и неблагодарное. К тому же рисунки эти особые.

Памятник Фаине Раневской в Таганроге

Вот Ф. Г. в гинекологическом кресле. Ноги широко расставлены, между ними огненно-красное пятно. Рядом — мужчина с расческой за ухом, очевидно, парикмахер, с щипцами для завивки в руке. На следующем рисунке он вставляет щипцы Ф. Г. между ног и улыбается. Огненно-красные щипцы он достает из влагалища на третьем рисунке и на четвертом стоит возле дамы, которой делает перманент, и легкий дымок от раскаленных щипцов исходит от головы клиентки. Подпись на немецком:

«Temperament!».

На втором листе Ф. Г. на пышном ложе, обнаженная, приподнялась на локтях и что-то высматривает. Чуть в стороне

указатель — фаллос с красной головкой, под ним надпись: «К Раневской».

Третий рисунок — Ф. Г. крупным планом. Она сидит за столом и что-то макает в банку с вареньем. Рядом — тот же сюжет, но это «что-то» уже хорошо видно: Ф. Г. обсасывает член, с которого капает варенье. Варенье — всюду малинового цвета.

Четвертый рисунок на листе поменьше. Внизу подпись: «Корона королевы Виктории». Выше сама корона, составленная из разных членов в состоянии крайней эрекции.

Пятый рисунок тоже с подписью: «Кающаяся Фаина». Святой с поднятыми в стороны ладонями рук, с нимбом над головой. Перед ним на коленях Ф. Г., делающая ему минет. На лице «святого» блаженная улыбка. Раскрасневшийся нимб сияет лучами.

Шестой рисунок — «Сердце Фаины». Довольно большое, традиционных линий сердце, проткнутое насквозь огромным фаллосом.

И наконец, последний — «Поднятие целины». Ф. Г. в томной неге на огромном ложе. К ней устремляется фаллос с красной головкой и ножками в сверкающих ботфортах со шпорами.

Михаил Ильич Ромм в своих «Двух рассказах о Сергее Михайловиче Эйзенштейне» вспоминает о необычной привычке великого режиссера: «Особенно он любил рисовать похабные картинки при дамах. Так вот застал я в Алма-Ате как-то: Люба Дубенская и Кончаловская Наташа от него вылетели, как бомбы, красные. Он им такое нарисовал, что они не выдержали, в общем, хотя уж многоопытные были дамы».

Ф. Г. в той же Алма-Ате сразу оценила юмор эйзенштейновской графики. Смеялась над его удивительными находками, неожиданностью ситуаций, порождаемых необузданным воображением Эйзенштейна-художника, восхищалась всем этим. И бережно собрала рисунки, которые Сергей Михайлович сделал, ведя серьезный разговор о месте Старицкой в истории и его фильме.

Ромм утверждает, что рисовал Эйзенштейн всегда. Правда, добавляет он, «из рисунков его только ничтожную часть можно опубликовать, а большинство непубликуемо. Совсем, никогда не будет опубликовано, это в чистом виде похабель».

И продолжает: «Как-то купил я на развале в Ленинграде коллекцию старинных дагерротипов таких: «Первая ночь новобрачной» и еще что-то такое, «Ванна молодой женщины» — такие деликатные, чуть-чуть фривольные фотографии, серии такие. Он мне повсюду к этой даме пририсовал кавалера, причем молниеносно, в таких позах, что просто с ума сойти. Я засунул

эту коллекцию дагерротипов куда-то, теперь сам потерял, все боюсь, что кто-нибудь ее откопает когда-нибудь».

Михаила Ильича можно понять, хотя его точка зрения не кажется мне бесспорной. Во всяком случае, мысль о том, что когда-нибудь можно будет увидеть опубликованными те рисунки, что я рассматривал в тот вечер, не возникала.

Я сидел над ними, откровенно ржал, одновременно удивлялся и восхищался увиденным — в рисунках этих, полных юмора, сарказма, издевательства над привычными нормами, фарсовых ситуаций, не было ни грана пошлости.

— Ну, и что мне с этим делать? — спросила Ф. Г., входя в комнату, когда я укладывал рисунки в папку.

— Смеетесь надо мной? — удивился я. — В архив сдать, конечно, в ЦГАЛИ — это же произведения искусства.

— И люди будут потешаться над Раневской? И на этот раз вовсе не над ее персонажами! Как же то, что я скрывала от самых близких, выставить на всеобщее обозрение?

— А Анна Андреевна эти рисунки видела?

— Конечно. И первая — как только я привезла их из Алма-Аты в Ташкент.

— И что она?

— Смеялась, как девочка! И все восхищалась неуемной фантазией Эйзенштейна.

— Отдайте все это в архив, не зря же вы столько лет их хранили. А там, между прочим, есть отдел, в котором лежат материалы, которые никому не выдаются.

— Вы серьезно?

— Ну, во всяком случае, без вашего разрешения не выдадут точно. У них есть строгое правило: все, что касается ненормативной лексики, не выдавать. Я там письмо запорожцев турецкому султану прочел, и то совершенно случайно.

— Не может быть! — изумилась Ф. Г. — Подлинник?

— Нет, конечно, копию, но без купюр определенно — там уж такой народный мат! Я даже себе переписал это письмо, обозначая все крепкие слова двумя буквами — первой и последней.

— Обязательно принесите в следующий раз. А то я столько об этом слыхала, Репина рассматривала, а что они там пишут, не знаю, — Ф. Г. вздохнула. — Если бы судьба не назначила мне быть актрисой, я бы стала историком: сидела бы в архивах, разбирала старые рукописи, увязла бы в пыли веков — это так интересно! Или пошла бы в археологи: с утра до вечера на раскопках, на ветру, под солнцем. И потом снимать наслоения с редчайшей скульптурки — царицы Итар, пролежавшей в земле

тысячу лет. Смеетесь? Вам не понять этого!..

ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

— Вчера я говорила с вашим отцом, Анатолием Владимировичем, он остроумный человек. Жаль, что природа на детях отдыхает, — вздохнула Ф. Г. — Вы улыбаетесь, это хорошо, а то я иногда думаю: не слишком ли явно я пристаю к вам? Вон и Евдокия Клеме уже говорит: Фаина Григорьевна, что же это такое? Ходит к вам и ходит, обедает, гуляет, видел вас голую, а предложения не делает. «А то ведь как бывает? Иной сватается, сватается, а как до самой точки дойдет, то и назад оглобли!». Это уже из «Свадьбы», помните?

А Анатолий Владимирович сказал мне, что вы никогда не ставите родителей в известность, где находитесь и когда вернетесь. И я вдруг позавидовала вам: Боже мой, сколько уже лет мне некому сказать и куда я иду, и когда буду дома. Никого давно это не интересует. Когда-нибудь вы поймете, как это прекрасно, если на земле есть хоть один человек, которого волнует, что с вами. Не вообще, а всегда — сегодня, завтра, в этот час и в следующий тоже.

Только не надо говорить о любви ко мне зрителей — ваш отец уже довольно элегантно сделал это. Но зрители любят не меня, а то, что я сыграла. В лучшем случае любят актрису Раневскую, что далеко не то же самое. Любят, пока где-то крутят мои фильмы, пока у меня еще есть силы выходить на сцену. Дети, мои самые верные поклонники, когда-то обожали Мулю, теперь в восторге от Мачехи в «Золушке», но вы обратили внимание — они уже не узнают меня: актриса Раневская ушла в другое измерение, а старуха, что сидит с вами на скамеечке у «Иллюзиона», их не интересует. Раневской-человека для зрителей просто нет в природе, это понятно?

Оттого и мое чувство одиночества вам недоступно. У вас — дочь, мать, отец, сестра, племянница. Дочь нарожает вам внуков, племянница — тоже, и вы будете на старости лет читать им «Конька-Горбунка» и сказки братьев Гримм — то, о чем я всегда мечтала, но так и не сумела сделать. Покупала для Ирининого сына детские книжки, но не заметила, как он вырос, и они оказались уже никому не нужны. И я с горечью думала, кому бы их подарить, чтобы не выглядеть полной дурой, увлекающейся в преклонном возрасте книжками с картинками.

А Иринин Алеша, мой восторг, прозвавший меня Фуфой, которого я считала внуком, не звонит мне месяцами, у него свои увлечения, и вижу я его очень редко, а самое главное — нам не о чем говорить. Ненастоящее все это. Голос крови никому не

удавалось отменить.

Ф. Г. горестно вздохнула, поднесла к глазам платок — и, как это только с ней бывает, — мгновенно сменила настроение: вдруг трубно высморкалась с таким звуком, что цирк бы вздрогнул, посмотрела на меня, смеющегося, и рассмеялась сама:

— Не будем устраивать панихиду по неудавшейся жизни! Тем более что у меня есть прекрасное и очень рискованное предложение: давайте повторим маршрут художественников — пойдем на Хитровку! Это же просто ненормально: жить в двух шагах от нее и ни разу не быть там! Вы там были? С экскурсией? Ну, это же разные вещи! «Посмотрите направо, посмотрите налево!» — я не признаю. Все нужно попробовать своими руками и ногами! — Ф. Г. сменила домашние тапочки на туфли. Я подал ей легкое пальто. — У меня только одно условие. Сейчас сколько? Пять? В семь мы должны вернуться: приличная женщина находиться в позднее время среди бардаков и ночлежек не может.

Мы прошли по Солянке до Подколокольного переулка, поднялись по нему к бывшему Хитрову рынку и резко свернули налево, пройдя через арку оштукатуренных ворот, из которой торчали облупившиеся кирпичи.

— Когда-то здесь повсюду сидели торговки и предлагали свое съестное: перед ними стояли корчаги с тушенкой — жареной протухлой колбасой, кипящей в железных ящиках над жаровнями. Все это можно было купить на копейку, иногда вместе с куском тряпки. «А ты ее обсоси и выброси, — кричала продавщица, если покупатель вдруг возмущался, — или давай сюда — пусть покипит еще немножко!»

— Откуда вы это знаете? — удивился я.

— Я столько раз вас просила: научитесь хоть не проявлять свою необразованность! Читать надо больше. Гиляровского, в частности.

Вокруг теснились длинные двухэтажные дома, когда-то желтые, с галереями наверху.

— Смотрите, там белье на веревке, — показала Ф. Г. — Люди живут здесь по-прежнему и, наверное, без ванн, душа и парового отопления. Только теперь уже не на пятак за ночь.

Во дворе было пусто, только у водопроводного крана посередине, запрокидывая голову, пила воду курица с чернильным пятном на шее.

— Смотрите, вот вход в подвал, — показал я. — Там, наверное, и были настоящие ночлежки.

— Спуститесь сначала вы, — попросила Ф. Г., - Посмотрите, что там?

Дверь в подвальные залы оказалась открытой, и мы с Ф. Г.

очутились под арочными сводами, уходившими в бесконечность. В тишине вдруг что-то зловеще прошуршало.

— Ой, крыса, — вскрикнула Ф. Г. и бросилась к дверям.

— Это бумага, — успокоил ее я, — ее сквозняком сдуло.

— С меня хватит! — Ф. Г. поднялась во двор. — Нет, вы представляете, как здесь выглядели художественники, приехавшие знакомиться с героями «На дне»? Подъехало десять экипажей с дамами в шляпах с вуалетками, с зонтиками в руках, все в длиннополых платьях, затянутые в корсеты, элегантные мужчины в черных сюртуках с бархатными отложными воротниками, в крахмальных манишках, с тростями. И во главе Константин Сергеевич, смотрящий на обитателей дна сквозь свое пенсне на черной ленте. Картина, я вам скажу, была! Я даже читала, что кого-то из них здесь чуть не пристукнули. А вот смотрите — это же декорация Сомова!

Мы остановились в дворике дома, кирпичная стена которого, казалось, точно повторяла оформление спектакля в Художественном. И входная дверь с покосившимся козырьком, и полуподвальные окошки, и скамейка, на которой Настя воздыхала о Рауле.

— Прямо играй Горького! — сказал я. — А публику посадить на склоне, устроив амфитеатр.

— Оставьте, — отмахнулась Ф. Г., - играли. Пробовали перенести Чехова на натуру, обнаружив березы, повторяющие декорацию «Трех сестер», — ничего не получилось.

Константин Сергеевич сказал тогда о несовместимости живой природы и театра. А я подумала: как же сегодня на природе снимается большинство фильмов, театральные актеры играют в них, и никто не вопит о несовместимости?

Мы покинули Хитровку, а Ф. Г. продолжала:

— Наверное, ужасно за одну жизнь пережить несколько смен в стиле актерской игры. И каждая из них при своем возникновении провозглашалась новейшей, лучшей, жизненной, за которой — большое будущее. Вы не сможете понять это. Станиславский был и остается для меня божеством. Я разве не говорила вам, как увидела его однажды проезжающим медленно в пролетке, бежала за ним, посылала ему воздушные поцелуи и причитала: «Прелесть моя, прелесть, прелесть неповторимая!».

А какой восторг я пережила, когда увидела в конце тридцатых постановку «Трех сестер». Восторг, изумление, потрясение. «Ничего лучше этого спектакля МХАТа нет и быть не может!» — думала я и готова была повторять это на каждом перекрестке. И вот недавно я слышала этот спектакль по радио. Запись того же спектакля, уникальную, сделанную на киноленту

— тонфильм. — Ф. Г. остановилась: мы были уже на Покровском бульваре. — Сядем, я умираю, хочу курить. Вам не дам — это последняя пачка «Лорда», пиршество курильщиков из-за чумы в Турции, куда не попали эти сигареты, кончается.

Она затянулась «Лордом», я — «Явой», и в воздухе повисла пауза курильщиков, наслаждающихся затяжками.

— Так вот, я слушала спектакль, приведший меня когда-то в неистовство, — продолжала Ф. Г., - и еле дослушала первый акт. Все было ужасно — Еланская пела, Гошева подвывала. Выспренность, ходульность и неискренность. Как будто они пародируют то, что когда-то восхищало меня. Я в ужасе выключила радио, не желая разрушать святое.

Но теперь понимаю: его все-таки уже нет. Как и многого другого. Мне недавно попалась на глаза фотография — она у меня дома, я покажу ее вам. Раньше я ее никогда не видела. Прекрасный портрет артистов Художественного. Дореволюционное качество, видны все лица, мельчайшие детали, можно рассмотреть складки кружевного воротника на платье у Книппер-Чеховой. Но я смотрела и ужасалась. Это снимок начала века: за столом сидит Антон Павлович, вокруг него вся труппа Станиславского, и Константин Сергеевич во главе. Актеры решили, очевидно, демонстративно отказаться от стандартов кабинетного снимка. Они вели себя не как в ателье, а как в жизни. Станиславский о чем-то говорит с Лилиной, она в удивлении всплеснула руками. Кто-то, кажется Лужский, сидит, раскрыв томик, и проводит рукой по лбу, полному мыслей, которые вызвало это чтение. Кто-то увлеченно спорит с кем-то. Ольга Леонардовна почему-то в стороне от Чехова о чем-то мечтает. Кто-то размышляет о смысле жизни. Словом, хуже этого ничего представить нельзя. Каждый старался вести себя, как в жизни, а получилось, как в сумасшедшем доме: не могут люди, находясь рядом, не замечать друг друга, если, конечно, они в своем уме. Не могут так изображать свои занятия и состояния.

Среди них нормальным остался только один Чехов. Он сидит спокойно в центре и просто смотрит в объектив фотоаппарата. Просто и естественно, и ничего специального. А вокруг него — вместо правды жизни — фальшь и притворство. Вот вам и художественники!

Нет, я представляю: когда-то разглядывали эту фотографию и восхищались: «Смотрите, как они живут перед объективом, даже не скажешь, что они пришли сниматься!». А сегодня это вызывает смех, и только. Кто знает, может, поэтому я порой так боюсь и новых спектаклей, и новых фильмов. А вдруг я вся из того ушедшего времени и надо мной будут смеяться, если даже роль

будет совсем не смешная. Как я смеюсь над этой фотографией...

— Но вы же смеетесь. Значит... — сказал я.

— Значит, еще не все потеряно, — вздохнула Ф. Г. и предложила пойти поужинать и выпить по рюмочке настоящей горилки с перцем. — Там в самом деле плавает красный перец на дне — вы такое еще не видели. Это мне поклонники привезли из Киева. Уверяю вас, такую водку не подавали даже в трактире «Утюг», славившемся на всю Хитровку!

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ ПОТОМ

Что произошло дальше, я до сих пор понять не могу.

— Прежде чем отдать книгу в издательство, надо показать ее друзьям, — решила Ф. Г. — Хорошо бы не близким, а таким, которые вынесли бы объективное суждение. Не льстили бы ни мне, ни вам. Это будет вроде генеральной репетиции — мы проверим рукопись.

— Но для этого нужно хотя бы перепечатать ее на машинке, — сказал я. — И может быть, стоит еще раз посмотреть, справедливо ли оказались вычеркнутыми многие записи? Мне кажется, из книги ушло немало интересного.

— Для кого интересного? — вспыхнула Ф. Г. — Вы опять за свое? Я не раз повторяла: мне никто не давал права рассказывать о людях, которых уже нет на свете! И захотели бы они этого, если бы могли сегодня выразить свою волю?!

— Все, все, все! — Мне не хотелось затевать старый спор. — Если вы найдете хотя бы одну запись, где вы рассказываете о комлибо, не связанном с вами, или о том, в чьей судьбе вы не принимали участия, сдаюсь раз и навсегда!

Я опасался другого: как будут восприняты резкие суждения Ф. Г. не о мертвых, а о живых. И мы еще раз сели за рукопись. Потратили на это целый день — с утра до поздней ночи. И при этом Ф. Г. просила меня читать только те записи, что она «вымела железной метлой». Несколько изъятых страниц согласилась восстановить и заключила:

— Все. Сдавайте в перепечатку!

Мне было грустно: половина того, что представлено сегодня в книге, тогда осталось «в корзине».

Я отнес рукопись машинистке, и начались лихорадочные дни. Ф. Г. звонила с утра:

— Ну что ваша машинистка? Печатает? Вы хоть поинтересовались, сколько у нее уже готово?

На следующий день:

— Я не понимаю! Вчера вы сказали «сто страниц» и сегодня «сто» — это те же, вчерашние, или новые? Ваша машинистка так и будет печатать в час по чайной ложке?

— Олечка печатает очень быстро, — защищался я, — но она еще и на работу ходит — в машбюро радио.

— Умоляю вас, скажите ей, что я места себе не нахожу, все жду вас с готовой рукописью. Скажите ей: она лежит и бредит, ну что же он не едет, ну что же он не едет?..

И сколько было радости, когда Ф. Г. наконец держала

рукопись в руках, разглядывала странички, любовалась абзацами и тирешками, начинавшими прямую речь:

— Как складно получилось! И просторно. Терпеть не могу, когда страницы заполнены сплошняком текстом — вздохнуть негде! А вы читали? Ошибок нет? А то скажут: «И чего эта малограмотная старуха полезла в писатели?! Со свиным рылом в калашный ряд!». Кстати, фотографии для книги буду отбирать только я — ни одной носатой не допущу, не надейтесь!

Первым читателем решили (после бурного обсуждения) сделать Феликса Кузнецова: мы с ним учились в МГУ, работали в то время в одной редакции — в литдрамвещании.

— И вообще он человек солидный, не в пример вам, — сказала Ф. Г., - авторитетный! Ведущий литературный критик — это вам не хухры-мухры!

Получив согласие Феликса («Конечно, прочту. Про Раневскую — это же страшно интересно — личность легендарная!»). Я отвез ему рукопись, и мы стали ждать результата.

— Не звонил? — осведомилась Ф. Г. на следующий день — Занятой человек. Пока он соберется, я изведусь! Чтоб ему пусто было!..

— Фаина Григорьевна, побойтесь Бога! — взмолился я. — И суток еще не прошло! Что же, по-вашему, человек должен бросить все и накинуться на рукопись, пока ее всю не одолеет?

— Ну, не всю, но хотя бы десять страниц! Ну, правда, же хочется знать, что он скажет! — вздыхала Ф. Г. Феликс позвонил на второй день:

— Я тебя поздравляю. Вчера мы с Люсей (это его жена) начали читать вечером, передавая друг другу по страничке из рук в руки, читали до двух ночи — не могли оторваться, пока не кончили. Я же говорил тебе, что Раневская — личность легендарная! В рукописи надо кое-что немного подчистить — это редакторская забота, и книгу ждет успех. Настоящий успех, уверен!

— А можно я с ним поговорю? — спросила Ф. Г., когда я передал ей мнение Кузнецова. — У меня есть к нему несколько вопросов, которые вы, конечно, задать не сообразили.

Вопросы оказались разные — Ф. Г. хотела развеять свои сомнения, но была и просьба, показавшаяся мне странной.

— Феликс Феодосьевич, — сказала Ф. Г., - простите меня за бестактность, но если понадобится подтвердить ваше мнение в более широком кругу, сможете вы это сделать?

— Без всякого сомнения! — ответил Феликс.

Случай для этого представился скорее, чем он ожидал. Хотя круг оставался прежним. Но это впереди.

А тогда…

— Итак, — сказала Ф. Г., - первый ход сделан. С вашей стороны в игру вступил Феликс Кузнецов, с моей… Я долго мучилась, кто? Первое, что пришло в голову, — Танька Тэсс. Мы столько лет дружим, она столько обо мне знает!

Я вам не рассказывала, как она повела меня в гости к Щепкиной-Куперник? О, это была история!

Татьяна Львовна — чудо! Человек XIX века! Образованнейшая женщина, полиглот, рядом с ней мы все неучи! И поэтесса! Как блистательно она перевела стихотворные пьесы! Один ее Ростан чего стоит!

Для меня Сирано может говорить только словами Щепкиной-Куперник. И во всем, что она делала, такая утонченность старинной культуры!

Я была несказанно счастлива, когда попала в ее дом, в котором нельзя обнаружить ни одного предмета меньше пятидесятилетней давности. Всевозможные антикварности окружили меня. И коньячные рюмки — таких вы никогда не видели: на длинных-длинных ножках с чуть подкрашенным стеклом чайного цвета. И помешалось в них с наперсток «Наполеона».

Я благоговела перед хозяйкой, изысканной старушкой, миниатюрной и изящной, как все, что она делала. Согласно кивала ей, когда она завела речь об Антоне Павловиче Чехове, его горестной судьбе и одиночестве, что он испытывал в пустом доме, в продуваемой ветрами Ялте, куда его супруге Ольге Леонардовне Книппер все было недосуг приехать.

После третьей рюмки я чувствовала себя достаточно раскрепощенной, от страданий Антона Павловича у меня на глаза навернулись слезы, и я раздумчиво заметила:

— Татьяна Львовна, а ведь Ольга Леонардовна — блядь!

И обмерла от ужаса: сейчас мне откажут от дома!

Но изысканная Татьяна Львовна всплеснула ручками и очень буднично, со знанием дела воскликнула: — блядь, душенька, блядь!..

Я смеялся, не предвидя, что рассказ о Щепкиной-Куперник будет последним, который я услышал от Ф. Г. Довольная произведенным эффектом, она смеялась вместе со мной и потом добавила:

— Танька рассказывает это блестяще! Правда, она утверждает, что я при этом еще раскачивалась на стуле, который подо мной угрожающе скрипел, но, клянусь вам, она врет: я этой вредной привычки не имею.

Так вот, Тэсс в качестве рецензента отпадает: позавидует, что

не она записала мои рассказы и не сообразила сделать еще одну свою книгу!

Витя Ардов? Он придет в эйфорию, хотя может не прочесть ни одной страницы: просто все, что касается друзей, у него вызывает восторг. Ниночку такой работой загружать нет смысла: она меня так любит, что согласится, если я даже скажу, что Солнце крутится вокруг Земли.

Я перебрала многих и решила: лучше Ирочки (Ирины Сергеевны Анисимовой-Вульф) никого не найти! Она знает меня с детства, с ее матерью, Павлой Леонтьевной, я провела годы, и забота о «маме» и ее семье всегда оставалась для меня главной. Кроме того, она — режиссер, значит, должна уметь видеть вещи её стороны, а сторонний взгляд нам и нужен. И передо мной Ирочка никогда не заискивает и не льстит мне — лучшего читателя нам не найти!

Предложение Ф. Г. Ирина Сергеевна приняла:

— Я еду на субботу и воскресенье в Болшево — там, в доме отдыха, и прочту все спокойно.

В воскресенье под вечер (так и хочется написать «Москва, 10 сентября, 18 часов 15 минут» — история действительно приобретала все более характер детектива) я позвонил Ф. Г.

— Срочно поговорите с Ириной Сергеевной! — распорядилась она решительно. — Она уже дома и ждет вас. Просила приехать к ней, как только вы появитесь. В любое время суток.

— Ей что, не понравилось? — Я почувствовал в голосе Ф. Г. неладное.

— Она вам все расскажет сама. Поэтому и хочет вас видеть, — услышал в ответ.

Около девяти я был в доме неподалеку от площади, где когда-то стоял собор Александра Невского, от которого к тому времени остались одни мрачные стены. Темный подъезд без лифта, запах кошек и еще чего-то, чем не должен пахнуть жилой дом.

Ирина Сергеевна встретила меня в наброшенном поверх платья халате, разрисованном турецкими огурцами. Она зябко куталась, несмотря на необыкновенно теплый сентябрь, очистила пепельницу, полную мундштуков от «Беломора», и тут же закурила на ходу.

— Я вернулась из Болшева на день раньше, — сказала она, устроившись в вольтеровском кресле — Читала вашу рукопись весь субботний день и всю ночь. Заснуть не могла. Не смогу спать и сейчас — так меня поразило прочитанное. Боюсь, вы и сами не понимаете, что вы сделали. В вашей книге — человеческий портрет, которого никто и никогда не должен видеть. Вариант

уайльдовского Дориана Грея. Сами того не зная, вы сдернули с этого портрета плотную завесу, о существовании которой мало кто догадывался.

Я опешил от неожиданности и не мог сказать ни слова.

— Из театра ей придется немедленно уйти, — продолжала Ирина Сергеевна — Так не уважать своих партнеров! Разве после этого кто-нибудь согласится выходить с ней на сцену?! Ни о ком ни одного доброго слова! Ни о ком!

— Вы неправы. Фаина Григорьевна о многих говорила всегда с восторгом, — наконец опомнился я, — об Ахматовой, об Осипе Наумовиче Абдулове…

— Об Ахматовой?! — Ирина Сергеевна не дала мне продолжать. — Я просто поражаюсь, как вы можете верить каждому слову, услышанному от Раневской?! Вы, взрослый человек! Да вы знаете, как она называла Анну Андреевну? Каменной скифской бабой! Каменной! Она постоянно твердила об этом, убеждая меня, что Ахматову ничто не тревожит, ничто происходящее с другими. А то свое, что у нее кипит в груди, отгорожено от людей каменным панцирем. Оттого она так неразборчива в новых знакомствах — ее никто, кроме себя, не интересует. И это о поэте, которого она боготворила?! На каждом шагу уверяла всех, что поклоняется ей?! О поэте, выразившем боль человечества?!

Вы называете Осипа Наумовича! Чудесного человека, добряка, артиста до мозга костей! Да, Фаина Григорьевна говорила, какой он идеальный партнер, как ей легко играть с ним чеховскую «Драму», что, когда его не стало, поняла: он — незаменим, и отказалась работать в «Драме» с другим артистом. Это для всеобщего употребления. А что слышали близкие Фаине Григорьевне люди? Халтурщик, хапуга, если заплатят, согласится выступать в сортире! А жена его — Елизавета Моисеевна — жалкая шляпница, озабоченная только тем, как побольше выжать из мужа, это она загнала его в могилу. Да, да, это все про свою подругу и советчицу, которая сейчас сидит у нее и с утра читает вслух вашу рукопись!

Ирина Сергеевна прикурила новую папиросу от другой.

— Нет, конечно, о многом я догадывалась, кое в чем подозревала Фаину Георгиевну, зная ее склад ума и острый язык, но такое не могла предположить! Я только никак не могу понять, как вы всерьез восприняли ее слова, что она нас кормила?! И даже не удивились этому! Она работала, чтобы кормить три взрослых рта!

— Фаина Григорьевна никогда не говорила этого! — вставил я.

— Ну, сказала, что на ее плечах была наша семья! Какая разница! Смысл остается тот же! И вы фиксируете это, даже не задумываясь, что такого быть не могло. Работала мама Павла Леонтьевна, не рядовая актриса, не на выходах, а на главных ролях! Работали я и мой муж — Юрий Александрович Завадский, мы, между прочим, были тогда артистами МХАТа, не самого бедного театра. Да, жили скромно, да, я латала Юрию Александровичу брюки, потому что на новые денег не хватало. Так как же может троих работающих содержать актриса, не имеющая постоянного заработка?! И жилья тоже! За которое, между прочим, работающим приходилось платить. Почему-то вы не поинтересовались, когда Фаина Григорьевна получила свою первую жилплощадь, комнату в коммуналке?!

Да, я понимаю, Фаина Григорьевна видит все по-своему. Но зачем же выворачивать события наизнанку, ставить их с ног на голову?!

Юрий Александрович и я несколько месяцев уговаривали ее ехать с театром во Францию — «Дядюшкин сон» включили в гастрольную афишу.

«Чего я там не видела?! Я и так Париж наизусть знаю!». Вот постоянные разговоры, что она вела, не говоря ни да, ни нет.

На самом деле причина колебаний была совсем другая. Мария Александровна в «Дядюшкином сне» получилась у Фаины Григорьевны хуже, чем я, как режиссер, ожидала. Может быть, впервые сказался возраст, но роль шла тяжело. Не хватало полета и мысли, и действия.

— Фаина Григорьевна, здесь нельзя рассиживаться! — сколько раз просила я. Никакого результата.

А потом она вдруг мне говорит:

— Почему ты все молчишь? Как у меня идет Мария Александровна, никогда не скажешь.

— Когда будет плохо — скажу, — ответила я. И месяца через два после премьеры, уже после десятого спектакля, зашла к ней в уборную:

— С каждым разом «Дядюшкин сон» идет все медленнее. Это работает против него.

— А я тут при чем? Я мечусь по сцене как угорелая!

— К сожалению, и вы виноваты тоже, — сказала я. Как она кричала!

— Ты хочешь сделать из меня Анку-пулеметчицу? Когда кончатся эти мейерхольдовские потуги? Я и так шпарю текст без передышки! А Мария Александровна — дама, а не п… а на цыпочках!

И в результате — вы этого, конечно, не знаете — сколько раз

объявляли замены якобы из-за недомоганий Фаины Григорьевны. На самом деле — из-за ее нежелания играть в спектакле, который она враз разлюбила.

Вот почему она в конце концов наотрез отказалась от Парижа! И тогда Юрий Александрович умолил Веру Петровну спасти театр, приготовить за две недели роль в спектакле, на который французы уже раскупили все билеты! Сложнейшую роль, в которой одного текста видимо-невидимо! И сыграть ее на публике всего один раз — перед ответственнейшими гастролями! А Фаина Григорьевна сияла от тихой радости — избавилась от нелюбимой роли! Так бы все тихо и кончилось, если бы Вера Петровна не прошла в Париже с огромным успехом. Тут-то и возникла версия, что Раневскую злодеи сняли с роли, чтобы отдать выигрышный материал Марецкой!

Ладно, вы этому поверили, но она-то, зная, как было на самом деле, дает вашу рукопись мне с просьбой посоветовать, стоит ли это публиковать! И как после этого верить, что я для нее — родная дочь, мой Алеша — как внук. Я еще могла понять ее отказ от Парижа — страх провала пересилил все, в том числе и мою просьбу помочь показать спектакль французам, — это же важно для меня как режиссера. Но когда я прочла этот стон обиженной овечки, добросовестно зафиксированный вами, выдержать не было сил! Или она действительно способна верить в вымысел, как в истинную правду?..

И вот что я хотела еще вам сказать в заключение. Татьяна Тэсс не решилась делать книгу о Раневской. Почему? «Я не хочу потерять человека, с которым дружу», — сказала она мне.

— Но, Таня, вы опытный журналист, — увещевала я ее, — член Союза писателей, у вас не один десяток книг, разве вы не сможете написать о Фаине Григорьевне так, чтобы она была довольна?

— Такой книги не может существовать вообще, — ответила она мне грустно. — Сложность характера Фаины по плечу разве что Шекспиру или Достоевскому. Ни тот, ни другой в нашем писательском союзе не замечен…

— Но у меня и мысли не было тягаться с классиками, — начал оправдываться я. — Мне хотелось только рассказать о том, что я видел, что услышал от Фаины Григорьевны.

— Разве вы не высказываете свое отношение к увиденному и услышанному? — спросила Ирина Сергеевна.

— В какой-то степени да, — согласился я.

— Это вас и погубит, — Ирина Сергеевна открыла новую пачку «Беломора». — Хоть я никогда не смогу понять, как взрослый человек мог поверить, что бездомная актриса содержит

семью из трех работающих самостоятельных людей?! Даже в самой условной пьесе такая ситуация немыслима, если это, конечно, не театр абсурда…

Я вышел от Ирины Сергеевны в начале двенадцатого. И сразу позвонил Ф. Г.

— Мы встретимся завтра, — сказала она. — У меня Елизавета Моисеевна — она читает мне, и я обливаюсь слезами над вашим вымыслом.

— Мне казалось, вы расценивали это иначе, — начал я.

— Я только констатирую факт, — не дослушала меня Ф. Г. — Пререкаться с вами у меня нет ни малейшего желания. Жду вас завтра после трех.

Мое состояние, моя боль о рукописи, ставшей вдруг чем-то вроде живого ребенка, которому наносят удары, ничего не добавят к портрету героини этой книги.

— Бессонными ночами не измеряется человеческое существование, — сказала Ф. Г. на следующий день,

— но они помогают принять решение. То, что вы написали, при моей жизни никогда не будет издано. И поэтому я предлагаю вам свои услуги — сяду за вашу рукопись и отредактирую ее фразу за фразой, страницу за страницей. Пусть она станет вдвое короче, но ваш труд не пропадет даром и он увидит свет уже сегодня. Я сама отвезу его в издательство ВТО и попрошу напечатать вместо той книги, которую я — вот уж в чем я уверена! — теперь никогда не напишу. Срывать с себя одежды в моем возрасте может только сумасшедшая!

— Я не хочу спорить — мы с вами не раз об этом говорили, — сказал я, — но думаю, вам не стоит тратить время на рукопись: из этого вряд ли что получится. Впрочем, разрешите мне подумать.

— Подумайте, — согласилась Ф. Г. — Одно я знаю точно: рукопись об актере может состояться, если она конгениальна ему. Остальное — болтовня. Вернуть вам ее сегодня не могу: попросила прочитать Нателла Лордкипанидзе. Да и зачем она вам, не пойму. У вас же есть второй экземпляр — копия первого?!

— Мне не хотелось бы, чтобы какой-либо из них попал в посторонние руки.

— Нателла не посторонняя. Она утром специально заехала ко мне, чтобы прочесть ваш труд. Позвоните мне через неделю — думаю, к тому времени она одолеет его.

Неделю я не звонил. Не было звонков и от Ф. Г.

— Рукопись у меня, — сказала мне Ф. Г., когда я наконец позвонил ей. — Но сегодня «Миссис Сэвидж», а в день спектакля я не веду длинных разговоров.

— Я только заберу папку — длинного разговора не будет, —

уверил я.

Но когда я стоял в подъезде, на площадке второго этажа, у знакомой двери, Ф. Г. не открыла мне.

— В день спектакля я не веду разговоров! — услышал я ее голос.

— Отдайте мне рукопись, — попросил я, — я не скажу больше ни слова.

— Не отдам! — решительно прозвучало из-за двери.

Я растерялся. Такого поворота не ожидал никак. Не зная, что делать, нажал еще раз кнопку звонка, но ничего, кроме его одинокого эха, не услышал. В квартире будто все вымерло. Я спустился на площадку ниже. Закурил — на подоконнике заботливо стояла банка из-под крабов с окурками. На часах — четыре. Через час-полтора Ф. Г. поедет в театр — за ней пришлют шофера.

Попрошу его забрать рукопись — мы хорошо знакомы.

Словом, стою и курю. Вдруг сверху слышны шаги — с третьего этажа спускается, почему-то минуя лифт, режиссер Сергей Арсеньевич Майоров, у которого мы с Ф. Г. не раз бывали в гостях. Он спускается не торопясь, с хозяйственной сумкой в руках.

— Как дела? — спрашивает он, поравнявшись со мной.

— Закурим?

После нескольких затяжек Майоров спросил:

— Расскажите, что случилось?

Я описал двумя словами ситуацию.

— Не понимаю. Так рукопись ваша? — переспросил Майоров. — А мне она сказала «Требует мою рукопись!».

— Нет, я написал… — начал я, но в это время на втором этаже неожиданно распахнулась дверь, из нее на мгновение высунулась голова Ф. Г.

— Не верьте ему! — прокричала она, и замок тут же защелкнулся.

— Послушайте меня, — сказал опешивший Майоров, — не ввязывайтесь в эту историю. Добром она не кончится. И шофер вам не поможет — вы не знаете характера Фаины Григорьевны. Если она меня погнала в магазин, чтобы я убедил вас покинуть пост, неизвестно, что она еще придумает. Счетчик там включен, понимаете?

Майоров ушел. Я стоял в одиночестве. Поднялся к двери Ф. Г., позвонил еще раз — хотел что-то сказать, но звонок снова звенел будто в пустой квартире. Спустился на свое место и решил: надо идти.

В это время снизу послышался грохот сапог — два

милиционера поднимались по лестнице. Возле меня они остановились. Один из них, в погонах старшины, козырнул:

— Ваши документы!

Тон его не предвещал ничего хорошего. Я протянул свое служебное удостоверение — корреспондент Всесоюзного радио и телевидения.

— Так, а здесь что делаете? — Тон старшины стал заметно мягче: с корреспондентами милиция связываться не любит.

— Жду, когда мне отдадут мои бумаги, — ответил я.

— А в дверь зачем ломитесь? Народная артистка просила избавить ее от действий хулигана. Поедем в отделение, там разберемся, — предложил старшина.

У подъезда стоял мотоцикл с коляской. Старшина откинул клеенчатый полог:

— Садитесь!

Залезая в коляску, я случайно взглянул на окна второго этажа: Ф. Г., вся вытянувшись от любопытства, разглядывала происходящее через очки в тонкой золотой оправе, которые она не успела надеть и держала в руке, подобно лорнету. По-моему, даже традиционно оттопырив мизинец. Наши взгляды пересеклись — она с ужасом отшатнулась и исчезла.

Это было так неожиданно, по-детски непосредственно и по-актерски выразительно, что я рассмеялся. Милиционеры с удивлением посмотрели на меня, но ничего не сказали, запустили мотор, и мы медленно двинулись в глубь гигантского двора. Свернув в арку, сразу остановились.

— В отделении вам делать нечего, — сказал старшина — Ступайте домой и не связывайтесь больше с народными…

Последний эпизод в этой истории с рукописью, как и первый, связан с Феликсом Кузнецовым.

Не скрою, где-то внутри мне льстило, что Ф. Г. решила один экземпляр оставить у себя: значит, рукопись ей нравится и, может быть, ей захочется ее перечитать. Ничего похожего в действительности не оказалось.

Через два дня Ф. Г. позвонила Кузнецову:

— Вы намерены по-прежнему утверждать, что вам понравилась эта пачкотня, написанная Скороходовым?

Феликс Феодосьевич ответил, что не привык менять свое мнение.

— Тогда скажите мне, что делать человеку, которого оклеветали? В рукописи, которая вас привела в восторг, столько выдумки, не имеющей ничего общего с действительностью! Посоветуйте, прошу вас, как мне представить эту рукопись в суд, чтобы ее автора посадили в тюрьму? За клевету. Непременно!

Кузнецов объяснил, что рукопись не опубликована, за это вообще никого никуда привлечь нельзя, а для доказательства клеветы понадобятся убедительные аргументы, и что лучше всего Ф. Г. не заниматься этим, а вернуть рукопись автору.

— И только? — воскликнула Ф. Г. — Боже, как несправедливы наши законы! Человек, по которому тоскует клетка с амбарным замком, остается на свободе, а оскорбленная им — беззащитной! Неужели это будет продолжаться вечно?..

Я пытался сказать Феликсу, что не могу ввязываться в спор, что понимаю право и Ф. Г., и Ирины Сергеевны на свою точку зрения, что знаю цену словам, произнесенным в эмоциональном запале.

— Не надо! — остановил меня Кузнецов. — Это же все и ежу ясно. Ты никому не хотел угодить — оттого и полемика. Жаль только, что вокруг рукописи, а не книги…

Через неделю я получил на почте ценную бандероль — пакет в плотной коричневой упаковке, обмотанный крест-накрест шпагатом, с тремя сургучными печатями. Внутри пакета ничего, кроме рукописи, не было.

ПОСЛЕДНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Как писать о том, свидетелем чего я не был, не знаю. И не смогу. До сих пор я говорил про то, что видел, слышал, читал. Продолжу так же. Только рассказов Ф. Г. больше не будет.

Значит, и история станет короче.

Я сходил еще раз на «Дальше — тишину». Спектакль этот снят на видео — его часто показывают то по одной, то по другой программе. Каждый о нем может судить сам.

Могу сказать, что со временем он стал другим. Мне ближе первые представления, где Ф. Г. была строже, обходилась без частых и многократных повторов реплик партнеров, а в главной своей сцене — прощания с мужем — старалась скрыть свое горе, держалась весело, «как когда-то», не лила столько слез.

С большим трудом достал билет на «Последнюю жертву» — ее давали редко. Спектакль этот начала ставить Ирина Сергеевна, но до премьеры она не дожила, и ее работу заканчивал Юрий Александрович.

Какая радость охватила меня, когда на сцене появилась Раневская! Радость и восторг — до того, что защипало в носу. Завораживала ее Глафира Фирсовна, лукавая, улыбчивая, готовая на любую авантюру и такая достоверная, будто всю жизнь прожила в век Островского. «Класс! Ай, класс!» — только и хотелось восклицать вслед за булгаковским гримером из варьете.

А потом долгий-долгий перерыв и еще одна новая роль, оказавшаяся последней. Может быть, я попал не на лучший спектакль. И хотя все встретили Раневскую овацией, не давая ей начать роль, и в финале после того, как ее Филицата пропела:

Корсетка моя,
Голубая строчка,
Мне мамаша приказала —
Гуляй, моя дочка! —

и ушла в небытие, моссоветовский зал сотрясли аплодисменты. Я, глядя на сцену, почти постоянно чувствовал, Ф. Г. трудно двигаться, трудно говорить, она как будто порой преодолевает что-то. И радость, что актрисе уже восемьдесят пять, а она играет, сменялась беспокойством.

О том, как Ф. Г. работала над этой ролью, я узнал из книги «О Раневской», выпущенной «Искусством» уже после ее кончины. Она ушла из жизни на восемьдесят девятом году жизни, 19 июля 1984

года.

Нина Станиславовна рассказала, что, получив роль няньки Филицаты в «Правда хорошо, а счастье лучше» Островского, Ф. Г. уже на первых читках пьесы резко не соглашалась с режиссерской трактовкой Сергея Юрского. «Помню, как после одной такой репетиции-читки, придя домой, она прямо в пальто опустилась в кресло и долго молчала. На мои расспросы растерянно и горько сказала:

— Подумай, что же это? Он сказал, что я прекрасно читала роль, но читала Островского, а он намерен ставить пьесу как Шекспира.

С этого началось, — продолжает Нина Станиславовна. — За редким исключением, репетиции шли для Фаины Георгиевны трудно, мучительно. Она постоянно жаловалась на это своим друзьям».

Нормальная реакция, нормальное неприятие чужой режиссуры — все свидетельствовало, что Ф. Г. находилась в хорошей творческой форме. Тревожнее выглядел рассказ самого Сергея Юрского, сыгравшего в поставленном им спектакле Грознова. Он вспоминает день 19 мая восемьдесят второго года, когда «Правду хорошо» собирались снимать для телевидения, но в последний момент съемку отменили.

«А спектакль шел, — пишет Юрский. — Это был страшный спектакль. С первой сцены она стала забывать текст. Совсем. Суфлируют из-за кулис — не слышит. Подсказывают партнеры — не воспринимает. Отмахивается. Мечется по сцене и не может ухватить нить. Вторая картина — совсем катастрофа. Мы сидим по двум сторонам стола. Сколько раз уж это было. Ну, случалось, и забывалось что-то. Но был уговор: в этом случае Грознов сам намекнет на то, что должна посоветовать ему Филицата…

Но в тот вечер — 19 мая — все было не так. Не забывчивость, не выпадение куска текста из памяти, а какой-то общий кризис… Мы все, участники спектакля, были пронизаны этим кошмаром Раневской. Каково же было ей?!». Ф. Г. хватило мужества и здравого смысла больше в Филицате не выходить на сцену. Вскоре — 24 октября того же года — она в последний раз сыграла и Люси Купер в спектакле «Дальше — тишина».

Марина Неелова, которая в это время репетировала «Кто боится Вирджинию Вульф?» Эдварда Олби в «Современнике», в один из дней, когда все у всех не ладилось, все вызывало раздражение, и режиссер Валерий Фокин в отчаянии объявил перерыв, вдруг сказала:

— Вчера была у Фаины Георгиевны, и, когда рассказала ей о наших репетициях, она воскликнула: «Боже, как я вам завидую!

Оказывается, есть еще театры, где ставят такие замечательные пьесы!».

— Так пригласи ее к нам! — попросила Волчек.

— Я очень хотела, чтобы Фаина Георгиевна посмотрела «Спешите делать добро», пока мы его не сняли, — улыбнулась Марина, — но она отказалась — почти не выходит из дому и не с кем оставить Мальчика, это ее пес, которого она подобрала где-то, выходила, и теперь он не отпускает ее ни на минуту. Она его даже брала с собой, когда играла, — он молчаливо сидел весь спектакль в ее уборной.

А «Спешите делать добро» я сыграла Фаине Георгиевне на кухне — всю свою роль монологом, от начала и до конца. И это было наслаждение. Такого зрителя, как она, нет больше. Я сыграла, а она молчит. И я не ждала слов — ее слезы и молчание дороже любых похвал.

И в другой раз, когда репетиция долго не начиналась и все ждали, когда появится опаздывающий Валентин Гафт, Марина сообщила:

«Сегодня утром позвонила мне Фаина Георгиевна, а я, еще не проснувшись, ответила ей басом.

— Деточка, что с вашим голосом? Вы пили всю ночь?!

— Я не пью, Фаина Георгиевна.

— Спасибо. Боюсь за вас, только не пейте! Я так испугалась вашего голоса, я боюсь, что после спектакля вы идете в ресторан и гуляете!

— Фаина Георгиевна, дорогая, это невозможно, я в рестораны не хожу вообще, не люблю, и это для меня может быть только как наказание.

— Спасибо, деточка, не растрачивайте себя впустую, прошу вас.

Милая Фаина Георгиевна, нежный человек с нерастраченной любовью, вернее с запасами ее неиссякаемыми!

— И снимайтесь реже в кино: когда мне снится кошмар — это значит, я во сне снимаюсь в кино. И вообще сейчас все считают, что могут быть артистами только потому, что у них есть голосовые связки. Тут у меня написано чье-то изречение: «Искусство — половина святости». Я бы сказала иначе: искусство — свято.

— Фаина Георгиевна, вы верите в Бога?

— Я верю в бога, который есть в каждом человеке. Когда я совершаю хороший поступок, я думаю, это дело рук Божьих».

И, пожалуй, последнее.

Леонид Осипович Утесов готовился к записи на пластинки.

— А еще я хочу спеть пару романсов. Давайте решим какие —

надо ведь сделать инструментовки на полный состав.

Он взял гитару и запел. Один романс, другой, третий: «Снился мне сад», «Ямщик, не гони лошадей», «То не ветку ветер клонит»... И вдруг:

Дай мне ручку,
Каждый пальчик
Я тебе перецелую.
Обниму тебя еще раз,
Обниму тебя еще раз
И уйду и затоскую,
И уйду и затоскую…

— Давайте этот, — попросил я. — Это любимый романс Раневской, она когда-то мне пела его.

— Я вам скажу, чтоб вы знали: у нее неплохой вкус! — сказал Утесов.

Пластинка с этим романсом вскоре вышла. «Пошлю ее Ф. Г., - подумал я. — Анонимно, без обратного адреса. Может быть, ей будет приятно».

Но так и не собрался. Из-за глупых предубеждений: неудобно, мол, что она подумает, зачем ее беспокоить… Теперь можно только жалеть об этом. И чувство вины не проходит. Гордыня тогда взыграла — как же, меня оскорбили, обвинили Бог знает в чем! И сегодня, мучаясь над последними строчками рукописи, я испытываю глубокое раскаяние за то, что тогда не нашел в себе сил сделать шаг навстречу женщине вдвое старше меня. И какой женщине! Какой актрисе! Простите меня, Фаина Георгиевна…

Да, запоздалое чувство вины не отпускает. И потому, несмотря ни на что, мой долг — сделать достоянием читателей эту книгу, в которой нет попытки установить, кто прав, а кто нет, но зато есть, как мне кажется, сама Раневская — непредсказуемая, ни на кого не похожая. Такой ее и примите.

Даже не берусь предположить, как бы она отнеслась к этой книге сегодня, и потому говорю еще раз: простите, Фаина Георгиевна!..

notes

Примечания

1

Популярную в то время «Кинопанораму» — Ред.

2

Любимой своей учительницей и режиссером, которую она называла мамой. — Ред.

3

Известная в те времена журналистка. — Ред.